

Военные
Приключения

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ



ВЛАДИМИР ДРУЖИНИН

Военные приключения (Вече)

Владимир Дружинин

Черный камень

«ВЕЧЕ»

2020

Дружинин В. Н.

Черный камень / В. Н. Дружинин — «ВЕЧЕ», 2020 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-8539-8

Во время освобождения Красной армией республик Прибалтики нашим контрразведчикам становится известно, что при отступлении немцы не сумели вывезти секретные документы, в которых изложена информация, имеющая огромную ценность. Но и фашисты делают всё, чтобы их планы не стали известны советскому командованию... Нефть жизненно необходима любому государству, особенно во время кровопролитнейшей из всех известных человечеству войн. Поэтому гитлеровцы изо всех сил стараются сорвать освоение новых месторождений, открытых в Приволжье. Им активно помогают те, кто еще в начале века пытался прибрать к рукам богатства российских недр... В книге представлены произведения одного из известнейших мастеров советской остросюжетной литературы.

ISBN 978-5-4484-8539-8

© Дружинин В. Н., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Знак синей розы	6
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Владимир Николаевич Дружинин

Черный камень

© Дружинин В.Н., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Знак синей розы

С чего же начать?.. Все неожиданно распуталось, но мне едва удастся привести в порядок мои разрозненные, наспех набросанные записки. События, о которых я собираюсь рассказать, слишком значительны для меня. Кажется, они обнимают всю мою жизнь. Я часто спрашиваю себя: неужели я только два месяца назад узнал, что означает знак синей розы?

Так недавно...

Но честное слово, я понятия не имел об этом в ту летнюю ночь, когда вместе со Степаном Вихаревым вышел в разведку. Помнится, накануне я писал в Ленинград:

*«Очень прошу вызвать еще раз по радио Ахмедову Антонину Павловну.
Это моя жена. Я не знаю, где она находится, и очень беспокоюсь. Целый год
от нее нет вестей.
Старшина Михаил Заботкин».*

Профессия разведчика – опасная профессия. И все-таки я надеялся, что останусь жив и когда-нибудь разыщу Тоню. Я верил, что дождусь этой счастливой минуты. Конечно, Тоня могла и погибнуть. Она могла погибнуть еще год назад – в пути. И все-таки она точно живая стояла передо мной в землянке при свете горящего телефонного провода, когда я заклеивал смолой конверт и писал адрес радиокомитета. Я знал, что если перестану надеяться, то смерть уж наверное настигнет меня. Ведь потерять надежду – значит примириться со смертью, покориться тем, кто несет нам смерть, – этого не будет, никогда не будет!

С Тоней мы встретились в Дербенте. Это было зимой. Собственно, настоящая зима была в Ленинграде, откуда я – выпускник Института водного транспорта – приехал в командировку. В Дербенте в феврале уже весна. Я должен был осмотреть новый буксирный пароход и сделать на нем испытательный рейс. Тоня работала в порту. Я зашел в диспетчерскую, а Тоня сидела у окна за счетами. Я сразу и не заметил ее. Она – тоненькая, светловолосая, в шелковой лимонно-желтой кофточке – вся точно растворилась в солнечном луче, светившем в окно. Она вышла из луча и сказала: «Ваш на пятом причале». Тут я ее и увидел. У меня много фотографий, но они все не похожи. Примусь мечтать – представляется одна какая-нибудь черточка: блеск ее улыбки, всегда такой быстрой, внезапной, или прядь волос, свешивающаяся на нахмуренный лоб. Прекрасно вижу ее манеру морщить переносицу. Это у нее – знак иронии. Странно: цельный портрет как-то не получается. Но я не упомянул об одной очень важной детали: у Тони на руке, повыше запястья, татуировка – синяя роза.

Тоня говорила мне:

– Не бойся, Мишка, я никогда не потеряюсь. Я ведь с отметиной.

Я спрашивал:

– Откуда это у тебя?

– В школе баловалась. Дура была, – отвечала Тоня. – Как-нибудь расскажу.

Так и не рассказала.

В начале войны я вернулся в Ленинград. Тоня осталась в Дербенте с больной матерью.

В июле тысяча девятьсот сорок второго года мать умерла. Тоня дала телеграмму: «*Выезжаю*». Я был уже на передовой. Телеграмму мне переслали из порта. Тоня знала, что я пошел воевать. Она знала, что творилось тогда в Ленинграде. Для чего нужно было ехать? Но отговаривать Тоню бесполезно. У нее появляется в глазах такой диковатый неласковый огонек. Глаза у нее дедовские. Дед Тони со стороны матери был отчаянный дагестанский джигит, а отец – русский офицер.

После той телеграммы с одним коротким словом я ничего не знал о Тоне. Я писал в Дербент ее тетке, но не получил ответа. Я не знал, что произошло. Немцы жестоко бомбили

Волховстрой, бомбили Ладогу, засыпали снарядами Ленинград. Но я верю, что Тоня жива... Может быть, она разлюбила? Нет. Я верю в Тоню...

Итак, мы пошли в разведку – я и старшина Степан Вихарев.

Заботкин – разведчик?

Тот, кто меня знает, улыбнется, прочитав это. Ничего не поделаешь, я решил действовать наперекор своей натуре. Я не так ловок, как Вихарев, стреляю хуже его, неважно ориентируюсь на суше, особенно в лесу, и, наконец, я нескоро на догадку. Вихарев называет меня бомбой замедленного действия, а в боевой обстановке сокращенно – бомбой. Три рапорта пришлось мне подать, прежде чем меня зачислили в разведывательную роту. Представьте себе передний край у Пушкинского парка: землянка, возня голодных крыс между бревнами наката, долгая борьба на измор, на выдержку – страшно неподвижная и страшно жестокая. Немецкие самолеты пикируют на пригород, а у нас осыпается земля, и крысы перестают возиться. Ничто не отделяло землянку, пирамиду винтовок, шеренгу котелков на полке, запыленное письмо на подоконнике, адресованное товарищу, которого нет в живых, от города. От города, где, быть может, Тоня. Траншея была продолжением городской улицы. Тоне тяжелее, чем мне. Было какое-то чувство вины, или стыда, или невыполненного долга – точно не скажу. Меня обуяла неистребимая жажда действия. Я вообще человек спокойный. И вот наперекор моим привычкам, моей медлительности я стал разведчиком. Правда, это произошло уже тогда, когда фронт далеко отодвинулся от Ленинграда в Прибалтику. На мое зачисление повлияли два обстоятельства: умею обращаться с радиоаппаратурой и немного знаю немецкий язык. Последнее особенно действует на Вихарева.

– Бомба, – говорил он, – ты не обижайся на меня. Ты голова.

На него я не обижаюсь. Скорее – на себя. Мне никогда не быть таким разведчиком, как Вихарев. Это красивый, ладно скроенный парень, года на три моложе меня. Перед войной он учился в Институте киноинженеров. Учился неважно, предпочитал книгам футбольное поле. Он уверял – без особенной досады, впрочем, – что, если бы не война, он вышел бы в мастера спорта. Постоянно слетают с его губ разные фут-пуш-баскетбольные и боксерские словечки, так что мне приходится переспрашивать. Кончики бровей у него самоуверенно лезут вверх. Вообще он парень неплохой, но самоуверенность портит его.

То, что он самоуверен, – это факт. Он никогда не советуется со мной. Даже для вида...

В ту ночь я шел позади Вихарева и нес рацию. Конечно, я не умею ходить так, как он. Валежник у меня под ногами трещит громче, я проваливаюсь в какие-то норы, натыкаюсь на острые пни, вылезающие из темноты.

Осталась позади нейтральная полоса, где мины ждут, чтобы на них наступили, болото, где мины таятся в мокрых кочках и висят на маленьких сосенках-уродцах. Мы углубились в лес. Я повесил автомат на шею и шел, защищая лицо ладонями. Временами по лесу пробегала тихая молния, вырезывался громадный папоротник или непомерно толстый ствол дерева. За вспышкой следовал глухой, далекий взрыв, уходивший глубоко в землю где-то позади нас.

На вспышки мы и держали курс. Мы спешили туда. Воротник пропитался потом и стал точно крахмальный.

Стреляла «квакша».

Так прозвали сверхтяжелую немецкую пушку, которая вот уже с неделю тревожила наши тылы. Ни легчики, ни звукометристы не могли точно засечь «квакшу»: поговаривали, что на ней установлены какие-то усовершенствованные звукопоглощающие приборы. Известно было одно: «квакша» стоит в районе разрушенной усадьбы, километрах в двенадцати от переднего края немцев и в четырех – от второй, запасной линии обороны, возведенной ими совсем недавно. Мы имели сведения, что линия закончена, что просека, вдоль которой она проложена, безлюдна.

И вдруг...

На просеке – на той самой немецкой просеке, к которой мы приближались, – зазвенел топор. Мы залегли, и я, как водится, угодил носом в крапиву. Мы чертовски близко... Степан сразу определил на слух, что немец очищает ветки. Я же ничего не мог определить и ощупывал гранаты в карманах. А немец срубал ветки, и топор у него звенел чистым серебром. Колокол – не топор. Мы вслушивались. Вихарев шептал:

– Со страшной силой.

– Что – «со страшной силой»? – прошептал я.

Он притих и стал жевать травинку. На окутанной туманом просеке – справа и слева – стучали другие топоры. Далеко справа и далеко слева. А туман уходил. Я проклинал его за то, что он уходит как раз в такую минуту.

Ясно, о чем думает Вихарев, жуя травинку. Немцы рубят ветки для маскировки своих новых огневых точек. Они почуяли, что мы готовимся возобновить наше наступление, и торопятся. Обойти просеку невозможно – проканителиться до следующей ночи. Нам всего две ночи отпущено на поиски «квакши» и на передачу ее координат. Выход один – прорываться.

Степан сделал знак, и мы поползли дальше. Теперь мы достигли опушки просеки.

Немец перестал рубить. Топор со смачным хрустом вонзился в пенёк. Невидимый немец закричал:

– Курт!

Никто не ответил.

Тут я совершил неосторожность. Подо мной с треском сломалась вершина сваленной рябины.

– Это ты, Курт? – крикнул немец.

Он направился, судя по голосу, в нашу сторону. Голос у него хриплый, простуженный. Я почему-то решил, что немец низенький, толстый.

Туман в это мгновение разорвался. Вернее, немец показался из тумана. Он был невысокий, но не толстый. Немец шел и звал:

– Курт!

Степан вскочил, словно подброшенный пружиной. Я лежал. Я еще не мог сообразить, что происходит. Степан схватил охапку веток и, держа ее перед собой, так что она наполовину закрывала его, пошел на немца. Тот, как ни в чем не бывало, шагал навстречу. Он, видно, был уверен, что перед ним Курт. Вихарев подошел почти вплотную, отшвырнул охапку и, замахнувшись ножом, кинулся.

Немец увернулся и, нагнувшись, схватил Вихарева за ноги.

Они покатались.

Немец визгливо звал Курта. Крик оборвался. Вихарев подмял врага, занес нож и опустил. Больше я ничего не видел. Все поглотила темнота. Тяжелая, тупая, вошедшая в самый мозг темнота.

Потом я все узнал от Вихарева. Курт появился. Он ударил меня прикладом по голове, и я упал, потеряв сознание. Разбежавшись, Курт хотел ударить Вихарева. Тот отпрыгнул в сторону и двинул Курта ногой в спину. Немец растянулся, выронил карабин, потянулся к нему, но Степан опередил его, крепко наступил на карабин и всадил Курту нож между лопаток. Спрятав трупы, Вихарев осмотрел меня, убедился, что я всего-навсего оглушен, взвалил на плечи вместе с рацией и понес. Я и очнулся на плечах у Степана. Очнулся нервным рывком, так что он пошатнулся и чуть не уронил меня. Одним словом, Вихарев изрядно со мной повозился. Голова у меня первое время кружилась, держался я нетвердо, как маленький. Счастье, что немцы, работавшие на просеке поодаль, не заметили нас.

Солнечным утром мы достигли района разрушенной усадьбы и здесь, среди ивняка, на берегу речонки с трудным эстонским названием, встали на бивуак до темноты.

– Ну и раздобыл ты, бомба, – безжалостно сказал Вихарев. – Пудов на шесть.
Я молчал.

Конечно, не выйдет из меня такой разведчик, как Степан. Живо представлялся разговор в роте. «Слыхали, – скажет один, – как Заботкин ходил на “квакшу”?» А другой ответит: «Это тот, что прошлый раз языка привел?» – «Ну да, – скажет первый, – так ведь он и тогда с Вихаревым ходил. Он солдат несамостоятельный». Скажет и бросит ложку в пустой котелок. Разволновавшись, я захотел есть. Это еще одна моя дурацкая особенность. Я полез в мешок за свиной тушенкой.

Вихарев сказал:

– Не вытаскивай банку на солнце. Блестит ведь со страшной силой.

– Знаю, – ответил я.

Когда я очистил с помощью финки половину банки, я несколько примирился со своей участью, а Вихареву мне захотелось сделать что-нибудь приятное. Он же спас мне жизнь. Я протянул ему свой кисет – один из тех, что вышила мне Тоня, – и взял из его пальцев помятую коробку из-под монпансье, служившую портсигаром.

– Поменялись, – объявил я. – Мою фамилию можешь спороть, если хочешь.

Но он не спорол мою фамилию, выведенную по темному бархату нитками медно-красного цвета. Если бы он это сделал – многое пошло бы по-другому...

Первое открытие, которое нам удалось сделать, было то, что «разрушенная» усадьба вовсе не разрушена. Стоило немного проползти кустами до берега, чтобы увидеть это. На слепящем солнцепеке мирно колыхалось маскировочное полотно, а на нем – выведенные кистью обломки стены, рухнувший карниз, придавивший сброшенную колоннаду, провал окна. В просвете между полотнами нагло белела штукатурка настоящей стены. Даже ржавая водосточная труба, внушавшая мне доверие сначала, внезапно наморщилась и в одном месте вздулась. Ловко! Что же прячут немцы в этих бутафорских руинах? Не «квакшу» ли? Но Вихарев, похихивавший трубкой, процедил, что машина со снарядами прошла мимо усадьбы в парк. Я прервал его на полуслове:

– Так тут штаб «квакши».

Я тотчас уверовал в свою догадку и начал тормозить Вихарева – вот бы запустить рацию да передать: нашли штаб.

Степан, не вынимая изо рта трубки, спрашивал:

– У тебя голова не болит?

Понятно, что он имел в виду. Нечего тратить аккумуляторы, поднимать шум, пока не разобрались как следует. Это верно. Но мне хотелось выполнить что-то своими силами.

Случай представился.

Чтобы попасть на ту сторону речонки, надо спуститься с одного крутого откоса и вскарабкаться на другой. Гибкие чуткие кустики ивняка и боярышника одевают овраг. Малейшее движение может выдать. Решили так: одному заняться «квакшей», которая, быть может, скрывается в парке, другому – усадьбой. Я высказал это соображение вслух, старательно подбирая доводы. Сейчас Вихарев опять спросит – не болит ли голова. Нет, он выслушал на этот раз серьезно и кивнул:

– Я заберу рацию.

– Почему?

– Ты сегодня слабоват, Бомба. Бледный. Нет, я заберу рацию.

Искать «квакшу» и радировать координаты, конечно, хотелось мне.

Но попробуйте спорить с Вихаревым!

Разделились мы, когда перешли вброд холодный, стеклянно-дребезжащий поток мутно-желтой воды. Уже стемнело. Вихарев двинулся вдоль берега по направлению к парку, а я уце-

пился за корень и подтянулся на руках. Немецкие часовые, вышагивающие наверху, не могли меня слышать: шум воды отлично помогал мне.

Добраться бы поскорее до гребня. А дальше? Дальше – притаиться, поймать ухом поступь часовых. Одна пара немцев обходит усадьбу по часовой стрелке, другая – против. Это мы заметили еще днем из нашего убежища. К счастью, усадьба стоит в саду и проскользнуть, улучив удобный момент, из прибрежных кустов под сень молодых садовых вишен не составит труда. Но на войне все получается не совсем так, как предполагаешь. Метрах в десяти от воды моя рука, нащупывавшая опору, наткнулась на камень. Я взгромоздился на этот камень. Сел, перевел дух, поплотнее надвинул пилотку. Стало еще темнее. Листья надо мной потеряли форму, слились в темное пятно. Наверху прошелестели шаги патрульных. Трава, смоченная росой, уже скрипела. После этого только я уяснил себе, где нахожусь. Я сидел не на камне, нет, – на выступе, выложенном камнем. От выступа вела куда-то пропадавшая в чаще тропинка. Странно было еще другое: на меня пахнуло вдруг промозглым, застоявшимся холодом и плесенью, точно из подвала. Над площадкой, как стерегущий глаз, зияло отверстие. Это еще что за новость? Я встал, чтобы обследовать отверстие, и коснулся гладкой поверхности булыжника. Один булыжник, другой... Целая кладка, загораживающая небольшой, в половину человеческого роста, арочный вход.

Стенка поросла сочной молоденькой зеленью. Из-под свода арки один булыжник выпал, оттого и появилась поразившая меня амбразура.

От легкого нажатия соседний булыжник свалился внутрь. Я вздрогнул, но камень упал на что-то мягкое. Можно пролезть внутрь. Нужно пролезть! Никакая сила не заставила бы меня отказаться. «Подземный ход ведет, разумеется, под усадьбу, под самый штаб немецких артиллеристов», – рассуждал я. Втиснувшись, я на всякий случай заложил проем изнутри тем же булыжником и зажег фонарь. Луч света лег на глинистый пол, на стены, подпертые ветхими досками. Все точно слеplено из пыли и праха и вот-вот разлетится, если дунешь. А потолок навис тяжелый, неровный, готовый обрушиться. Его тяжесть болью отдалась в висках. Сверкнул вделанный в стену полированный гранит. На нем надпись:

ЛЮДВИГ фон КНОРРЕ
скончался 21 мая 1852 г.

Мрачное местечко выбрал этот фон Кнорре для своих костей. Фон Кнорре. Усадьба, оказывается, баронская. Что-то шевельнулось в памяти. Слышал ведь я про какое-то баронское подземелье.

Вспомнил: слышал от Лейды. То была маленькая, румяная старушка эстонка, ютившаяся в бане, на окраине выжженного немцами городка. Она чудом сохранила корову и поила бойцов парным молоком. Старушка и упоминала о пещере в баронском имении, где крепостных травили медведями...

Фонарь осветил еще плиту:

АМАЛИЯ фон КНОРРЕ
скончалась 9 января 1848 г.

Коридор раздался вширь. Стенки облицованы бревнами, замыкают круглую комнату. Зловещий, рыжий от ржавчины крюк торчит из бревна. Привязь для медведя? А это что? Обломок обшивки или кость? Как человек, склонный к фантазии, я несколько не удивился. Я постоянно ждал необычного, – вот оно явилось в виде подземелья – извилистого, неровного, ведущего к новой, неведомой главе моей жизни. Теперь я положительно убежден, что думал так.

Круглое помещение завалено землей и балками, – рухнул потолок. Шинель зацепилась за гвоздь, порвалась. Я перекатился через баррикаду. Коридор повел дальше. Теперь я, наверно,

под самой усадьбой. Хрустят куски стекла. Непонятно, откуда они взялись. Потом слышу: «Тук-тук-тук...»

Я выключил фонарь. С размаху прислонился к толстой подпорке. Кто там стучит впереди? Немцы? Но здесь ни одного свежего следа. Кожа моя и ребра стали тонкими-претонкими, а сердце гулко колотилось.

Снова вслушиваюсь... Никто не стучит. Это вода. Вода каплет. Осторожно, не зажигая света, я подкрался и подставил ладонь под капли. Вода. В это время над головой заскрипело, зашаркало. Прошел кто-то. Хлестнула долгая, визгливая рулада – кто-то резко и злобно провел по клавишам рояля.

Коридор все поворачивал вправо. Вдали, точно раскаленный железный брус, преграждавший дорогу, висел тонкий луч. Он пропал в кромешной тьме. Опять засиял.

Несколько раз этот луч то мерк, то рождался. А наверху щелчком закрылась крышка рояля, стонали половицы. Впрочем, теперь уже трудно было различить, что тут чудится и что есть на самом деле. Но луч, луч! Я отдышался, с усилием привел в порядок мысли. Нет, не выйдет из меня разведчик, пока не научусь рассуждать хладнокровно. Просто же... Тьфу, просто, как дважды два. В стене дырка. За стеной, верно, освещенная комната и там люди размахивают руками, – вот почему этот проклятый луч такой суматошный.

Мягко ступая на всю подошву, я пересек луч. Пересек и испугался, – точно те, в соседнем подвальном помещении, могли меня заметить.

Судя по голосам, их двое. Но скоро один замолчал или ушел. Остался другой. Только толщина стены и отделяла меня от него. Там что-то свистело и шипело. Стена глушила, искажала звуки, поэтому я не сразу сообразил, что немец сидит за радиостанцией. И точно для того, чтобы устранить мои сомнения, немец заговорил:

– Я Штеттин.

Аппарат пискнул.

– Я Штеттин, – сонно долбил немец. – Я Штеттин. Плохо вас слышу.

Свистнуло.

– Я Штеттин.

«Открытым текстом передают. Вот сволочи!..»

– Отто! – крикнул радист.

Он заговорил с подошедшим Отто. Немецкий язык я знаю далеко не в совершенстве. Нахватался у матросов, когда плавал на лесовозе. Подслушать бы прямо через дырку, из которой выбивается свет, но она высоко. С трудом вылавливая знакомые слова, я выяснил, что радисту не удастся связаться с кем-то и он сетует на помехи. После этого к аппарату сел Отто. Аппарат верещал, улюлюкал. Временами в этот хаос влетала очередь морзянки.

– Черт тебя возьми! – заорал Отто... – Не видишь... Под носом русский.

– Чушь. – И первый радист прибавил мощность. – Это... Это... История... – растерянно пробормотал он. – Отто, он же нашел пушку. Где майор? Он же нашел пушку!

Я чуть не привскочил. Вихарев там. Вихарев! Какой же еще русский? Степа, милый, нашел. Работает, передает координаты. Со страшной силой. Хорошо. Действуй, Степа, действуй! Торопиться мне, значит, нечего. Можно продолжать наблюдение. Вихарев нашел пушку, а я – штаб. Здесь радиостанция, здесь майор, – должно быть, самый главный у них. На миг я забыл про немцев за стеной. Они препирались, кому будить майора. Препирались сердитой скороговоркой. Я уразумел только, что Отто боится, как бы майор и радистов не поднял на поиски русского. Это я принял почти равнодушно: Вихарев не попадется. Я так преклонялся перед боевыми качествами своего товарища, что видел его всегда и во всем победителем. Глупая беспечность. Правда, здесь я не ошибся, но...

Однако не буду забегать вперед. В конце концов майора разбудили и привели к рации. Оба радиста совали майору наушники. Я кусал ногти от нетерпения, а майор молчал. Очухавшись, он пробасил:

– Ф-ферфлюхте...

– Слышите, господин майор?

– Лаушер!

– В вашем распоряжении.

– Вы – кандидат в офицеры, займитесь... Обшарьте берег. Нет, лейтенанта на берег, вы еще утонете. Берите троих и проверьте... Что вы на меня вылупились, как кролик на волка, черт вас дерит! Проверьте подземелье. Кое-как заложили там...

Точно ветром отнесло меня от стены. Скорее вон отсюда – к выходу! По крайней мере я встречу там немцев, подстерегу их там, у входа, за камнями. Это решение всплыло в сознании само по себе, всплыло, когда я уже оставил позади баррикаду в круглом зале.

В темноте я ухнул в неведомую яму и шлепнулся во что-то липкое, оказавшееся на ощупь глиной. Не помню, ушибся я или нет. Я только подумал с безотчетным, нарастающим страхом, что здесь яма, а я не видел никакой ямы... Фонарь озарил шероховатые стены без подпорок. Этого еще не хватало!

Я заблудился.

А наверху, очень высоко, по комнатам старой баронской усадьбы, разливалось жалобное, зовущее, смертельным ужасом пронизанное пение сирены.

Тревога!

После падения я не мог вспомнить, в каком направлении шел, но наконец отыскал свои следы на исчерченном ручейками полу. Обратно, скорей обратно – к круглому залу. Из него должен быть еще выход. Я захлебнулся от радости, когда свет фонаря упал на баррикаду. Где же другой ход? Я обомлел. Передо мной, точно насмехаясь, зияли на малом расстоянии друг от друга два входа.

Секунды три-четыре я постоял и успел перечувствовать много горького. И если бы эту горечь выразить связной речью, то получилось бы вот что: дурак, Заботкин, редкий дурак, никогда не будешь ты настоящим разведчиком. Элементарную предосторожность упустил: не оставил ни затесов, ни других опознавательных знаков.

Потом я подошел к одному из выходов и с облегчением поправил ремень автомата, – здесь вовсе не ход, а ниша, перегороженная железной решеткой. Медвежья клетка? Да, вот она. Здоровые прутья. Я ощупал их, как ни спешил.

Вскоре, погасив свет, я расположился в засаде у входа. Сирена сделала свое дело: кусты ходили ходуном, щели между камнями стали зелеными, потом пунцовыми, – значит, горят ракеты. И не осветительные, а сигнальные – немцы перепутали, должно быть. Сломалась ветка. Кто-то высморкался и сказал по-немецки:

– Здесь.

– Здесь, – отозвался еще голос.

На площадку у входа в подземелье съехал, звякнув чем-то, третий немец и сказал:

– Здесь.

Все мускулы мои напряглись. Автомат наготове. Но враги молчат.

– По-моему, – сказал один, – всё на месте.

– Нет, не совсем.

– А этот камень вроде трогали.

– Трогали?

– Хотя черт его знает.

– Господин кандидат в офицеры! Прикажете расчистить?

– Э... прикажу.

Голос кандидата зябко подрагивал. Я сжал автомат. Немец убрал два камня.

– Вот что... – замямлил Лаушер. – Я считаю, лезть туда незачем. Там никого нет. Я... вот что приказываю... Охранять это место. Допустим, он там. Хотя он, конечно, не там.

– Конечно, – одобрил кто-то.

– Ну, допустим, там. Все равно. Он высунется – мы его и... – Тут отважный кандидат в офицеры произнес непонятное словечко, означавшее, скорее всего, «сцапаем».

Тогда заговорил солдат. Со странным горловым акцентом он рассказывал о привидениях в долине, где-то в Верхней Баварии. Я очень мало понял из того, что он рассказывал. Но это, во всяком случае, кстати. Суеверные немцы уж, наверно, не решатся лезть. А я так и буду торчать, как истукан? Большой булыжник в верхнем ряду просил: «Столкни меня, столкни меня». Пихнуть его, чесануть из автомата, кубарем к реке... Глупости. На площадке появились еще немцы. Слух подсказывал, что их было трое или четверо. Донеслось:

– Покурим.

– Майор с перепоею еще не то выкинет. Слонов ловить заставит. Ах, прошу прощения. Здесь, если не ошибаюсь, господин кандидат.

Я не стал дальше следить за беседой фрицев. Положение выяснилось: Вихарева не нашли, он выполнил задание, передал координаты «квакши» и скрылся. Я вернулся на прежний свой пункт наблюдения – к стене с дыркой.

За стеной разговаривали.

Радиостанция не работала, и в комнате ясно можно было различить два голоса, говоривших по-немецки, мужской и женский.

Женщина хохотала. Она хохотала задыхаясь, нервно. Она заходилась хохотом. Ножки стула процарапали по полу, женщина затопала:

– Уберите... Уберите...

Мужчина что-то объяснял шепотом – и она оборвала смех на пискливой ноте. Послышалось бульканье. Женщина, по-видимому, налила что-то. Мужчина сказал:

– Довольно.

– Последнюю, обер-лейтенант... На дорожку. А потом вы меня проводите...

– Не знаю.

Что-то ударилось, разлетелось вдребезги. Она, видимо, швырнула рюмку.

– Не надо, детка.

Она вздохнула:

– Сапоги мне велики.

– Вы проводите ее и сразу назад.

– Как я проведу ее... Не представляю. Через русскую оборону...

Я точно прилип к стене. Кого это ей надо провести?

– Сбрейте усы. Фу!.. Подайте мне сумочку. Там ножницы. Я срежу ваши противные усы.

Потом она опять круто изменила свой разухабистый тон и проговорила:

– Меня расстреляют большевики.

Тупая безнадежность в этой фразе. Расстреляют? Тут я понял. Ясно. Ясно, какая у нее дорожка, зачем на ней сапоги... Ее посылают к нам в тыл. Да не одну, а с другой шпионкой, которой надо показать дорогу. И, как назло, уса́тый немец шепелявит, не разжимая рта. Ни черта не понять. Отдельные слова только – шоссе, мельница. Которая мельница? Их в здешней местности тьма-тьму́щая. Он еще сказал, вернее, продышал что-то вовсе не разборчивое.

– Нет, она уже пробовала, – ответила она. – Ничего не выходит.

– Пусть перевяжет.

– Идет.

– Куда идет?

– Идет – значит «хорошо».

– А!..

Что перевязать? Вы засмеетесь, но, честное слово, была минута, когда мне хотелось окликнуть их через стенку. Я не слушал, нет, – я впивался в то, что говорилось там, вбирая ухом, ладонью, прижатой к стене, коленями. Подхватил немецкое слово «моргенрот». Чего он шепчет, чего шепчет, проклятый? Дом какой-то. Похоже, что в дом надо прийти на утренней заре. Может быть, слово «моргенрот» имеет другое значение? Непослушными пальцами я извлек из кармана замусоленную книжонку и написал на обложке это самое слово – «моргенрот». Что же еще? Но я напрасно старался найти хоть намек на разгадку. Усатый задал мне еще одну головоломку. Он сказал:

– Найдете в газетах.

Словом, когда эта баба наконец ушла и я попытался подвести итог, он выглядел очень неутешительно. Дом на утренней заре, нечто напечатанное в газетах, или завернутое в газеты, или... Я с ума сходил от досады. И еще та – вторая. Что надо ей перевязать и зачем? Офицер включил радио, голос берлинского диктора забубнил: «Крайсляйтер Мариенбурга шлет привет эсэсовцу Гергарду Шнитке, эсэсовцу Бруно Шварцкаммеру, эсэсовцу...» Снедаемый досадой, я поплелся к выходу.

Дорога была еще закрыта. На площадке по-прежнему сидели солдаты вместе с кандидатом в офицеры. Придется переждать.

Я вернулся и примостился на гнилом чурбане. За стенкой было тихо.

Вдруг как тряхнет! Я свалился с чурбана, крепко стукнулся оземь, ушибся, но невольно рассмеялся.

Наши бомбят!

Сигнал Вихарева принят. Это самое главное. Мне почему-то не пришло в голову, что я могу погибнуть от нашей же советской бомбы. Такое предположение всегда кажется нелепым. И не от того острый холодок, точно струйка воды, побежал по спине. Что, если подземелье осыпалось и я погребен в нем заживо? Со всех ног я кинулся к круглой комнате. Три толчка нагнали меня. Казалось, били не сверху, а снизу. Снизу, и прямо по моим пяткам. Подземелье тряслось и гудело, в горле стало горько от пыли, поднявшейся густыми, почти непроницаемыми для света клубами. В круглой комнате ничего не изменилось. Беда ожидала меня дальше. Недалеко от выхода вал из земли и обломков дерева перегородил мне путь.

С разбегу я лег на этот вал и – в чем был, не снимая мешка, – начал лихорадочно рыть.

Фонарь, засунутый в щель стены, наводил на гнилушки, на сырую гальку маслянистый глянец. Я больно занозил ладонь, с кровью вытащил занозу и не обер пораненное место. Было тихо, но я боялся следующего толчка. Бомбы, только что сброшенные, казались мне игрушечными по сравнению с новой, ожидаемой бомбой. Она небось уже свистит. А я тут роюсь, как крыса, и не слышу. А бомба свистит и сейчас... (я вбирал голову в плечи, но руки бешено разгребали землю, под ногтями ныло)... двинет. Мама дорогая, сейчас двинет! Полированный гранит надгробной плиты, черный мерзкий гранит, и на нем я читаю не «фон Кнорре», а «Михаил Заботкин». Чепуха. Конечно, чепуха. Тихо. Нет, врешь, жив Заботкин. Надо скорее рыть, скорее...

Все-таки тряхнуло. Тряхнуло очень слабо, – видно, наши пикировали на другую цель.

Я долго работал.

Должно быть, я пробивался часа три или четыре. Когда я, шатаясь от волнения и усталости, подошел к выходу, за камнями сверкал огромный, ослепительный день и живительно сладкое, очищающее дыхание дня лилось в пещеру.

Я прильнул к щели, жадно дыша. На площадке никого не было. В кустах тоже никого. Внизу, по самому берегу, должен каждые десять минут проходить патруль. Я прождал полчаса – патруль не появлялся. Листья настороженно шушукались. Потом я начал спрашивать

себя: почему нет патруля? Глубоким, безопасным спокойствием пахло от реки. Я разобрал кладку, выскользнул наружу и начал спускаться. Переправился на ту сторону, оглянулся. Вокруг усадьбы было безлюдно. А сама усадьба красовалась в натуральном своем виде, без всякой бутафории. И один флигель усадьбы был по-настоящему разбит. Маскировку увезли. И «квакшу», очевидно, если ее не успели припечатать к земле наши бомбардировщики.

И в лесу было тихо, но не везде. Впереди, где раньше была линия фронта, ни выстрела. В стороне, не очень далеко, протянулась пулеметная очередь. Потом сыграла «катюша». Тысяча тонн камней сыпалась по железному лотку, – вот как она сыграла!

Невидимый край неба начал гулко проваливаться. Врезали воздух снаряды.

Однажды я, кажется, уловил далекое, как отзвук песни, «ура».

Шло наступление.

Это, конечно, хорошо, что началось наступление. Замечательно хорошо. Мы знали, что оно не сегодня завтра начнется. За сутки до нашего похода к передовой подвезли лодки, большие просмоленные лодки для форсирования цепи озер. Лодки еще придется везти к озерам километров двадцать. Мы видели, что саперы укрепляли мосты, танки выходили на исходные рубежи. И вот наступление началось. Но в моих ушах голос наступления звучал в то же время упреком. Сведения о штабе «квакши» теперь бесполезны. А что касается шпионки – черт ее знает, как выследить ее по таким ничтожным данным. Утренняя заря. Повязка. Что-то в газетах. Зря ходил в разведку Заботкин, зря. Как я посмотрю в глаза полковнику? Он один раз сказал мне:

– Плачевно, Заботкин.

Положим, теперь он не скажет так. Я не виноват. Но все-таки нехорошо...

Из леса я вышел на шоссе и наткнулся на наших танкистов. Они варили под елкой гречневый концентрат. Я подсел к ним и съел полкотелка, вытер ложку о траву и попросил прощения. Танкисты весело посмотрели на меня, но не засмеялись. Они слишком устали, чтобы смеяться.

Один из них, лежавший на разостланной кожанке, сказал, что первую линию прорвали с ходу, а на второй немцы не успели закрепиться. Другой танкист заметил, что это еще вопрос. Первый было приподнялся, но не стал спорить и лег. Лицо у него было красное, потное, на лбу вмятина от шлема.

«Эти воевали», – подумал я.

В тот же день я разыскал наших. Штаб уже снимался. Писарь выносил из дома штабной скарб. Я спросил, где Вихарев.

– А ты не знаешь?

– Нет.

– Да, конечно, ты не знаешь... Он погиб.

– Иди ты к черту! – крикнул я и изругал писаря последними словами.

Подробностей я узнал немного. Сегодня утром на дороге у моста через реку Эма-иги разорвался немецкий снаряд. Санитарки подобрали четырех убитых, в том числе Вихарева. Он возвращался на попутной машине к своим... Его выбросило из кузова и швырнуло под другую машину, шедшую сзади.

Вечером меня вызвал капитан Лухманов.

Я сам собирался зайти в отдел, где работает Лухманов, и передать все, что узнал в усадьбе.

Я, помнится, меньше всего думал о причинах вызова, когда сидел в маленькой приемной, служившей когда-то кому-то кухней, сидел спиной к красной кафельной печи, усеянной, как водится у эстонцев, крючками для одежды, и ждал. Одна фраза неотступно преследовала меня, короткая, страшная фраза: Вихарев погиб. Вихарев, о котором говорили: «Этот о двух голо-

вах парень, смерть ноги поломала, за ним гнавшись». И он погиб. Кто воевал, тот знает, как действует смерть товарища, с которым ты делил постель, еду, тоску о доме – всё. Она всегда неожиданна, такая смерть. Завтра, быть может, моя очередь. Уж если Вихарев погиб...

Тут вошел Лухманов. Я плохо рассмотрел его и едва уразумел его первый вопрос.

– Товарищ Заботкин, – сказал он, – каким образом ваш кисет попал к Вихареву?

– Кисет?

– Да.

Я объяснил. По тону капитана, по тому, как он внимательно следил за моим рассказом, я почувствовал, что он как-то связывает мой кисет со смертью Вихарева. Когда я дошел до подземелья, он прервал меня:

– Это всё?

– Всё.

– У Вихарева есть враги?

– Враги?

– Я имею в виду – личные враги. Ну, из-за девушки или что-нибудь в этом роде.

– Кажется, нет.

– А у вас?

– Нет.

– Вы уверены?

– Уверен, товарищ капитан.

– Никаких нападений? Грузовик, скажем, сворачивает на вас... Автоматная очередь ночью на дороге... А? Я к примеру. Не было такого, старшина?

Я признался, что было. Забытый случай. Дня за три-четыре до нашего выхода на разведку я шел за продуктами в кладовую, и кто-то выстрелил из автомата. Пуля прожужжала мимо.

– Кто же стрелял?

– Понятия не имею, товарищ капитан. Наверно, случайность.

Капитан кивнул.

– Очень может быть, – сказал он равнодушно.

Однако я не поверил в его равнодушие. Он подозревал что-то, явно подозревал...

Сознание невольной вины сдавило мне плечи. Но я почувствовал не только это. Я почувствовал раздражение против человека, который вот сейчас, беседуя со мной своим тихим, ласковым голосом, взвалил на меня эту вину.

– Товарищ капитан, – начал я без обиняков, – вы говорите так, точно... ну, точно против меня какой-то заговор и вместо меня по ошибке убили Вихарева. Это странно, товарищ капитан. Снаряд, по-моему, не разбирает.

– Снаряд?

– Да.

– А вы уверены, что он убит снарядом? Уверены, Заботкин?

– Так разве...

Лухманов отставил лампу, несносно медленно потер правый глаз и, наконец, проговорил:

– Дорогу обстреливали, – это верно... Воронки есть. И труп нашли. На первый взгляд все очень просто. Но вы знаете, товарищ Заботкин, – он опять поднес платок к глазам, – многое кажется сперва простым, а на проверку выходит...

Он так и недоговорил, занявшись своим глазом, а я волновался и злился все больше. Невольная, неясная вина надвигалась на меня, надвигалась, и я яростно отталкивал ее. «Нет, все просто, просто, просто! – твердил я самому себе. – И кто такой Лухманов, чтобы вот так, безапелляционно... Шерлок Холмс какой нашелся! Что он такое открыл?»

В молодости я читал много всяких приключенческих книг, и образ следователя – энергичного, умного, смелого следователя – прочно поселился в моем воображении. Лухманов же

похож скорее на мастера провинциальной фабрики где-нибудь на Верхней Волге. Он немолодой, нос у него не прямой, а курносый, с широкими ноздрями, подбородок маленький, остренький, как у мальчишки, и вообще у него лицо мальчишки – стареющего, сонного, уставшего мальчишки. Знал я в детстве такого мастера. Звали его Арсентьич. Арсентьич водил нас, школьников, по лесозаводу и давал объяснения витиеватым языком. Больше всего он любил слово «консистенция». Мы посмеивались и подсчитывали, сколько раз скажет Арсентьич слово «консистенция». Несмотря на серьезность разговора с Лухмановым, я не мог не вспомнить Арсентьича. «Вот сейчас Лухманов тоже скажет “консистенция”», – вдруг подумал я.

– Так-так, Заботкин, – проговорил он. – От жены ничего нет?

– Нет, товарищ капитан.

– Давно нет известий?

– Да. Два года скоро.

– Ни письма, ни привета?

– Нет.

Вопрос не удивил меня. Многие знали, что я разыскиваю Тоню. Никакой задней мысли в словах Лухманова я тогда не усмотрел. Самое обыкновенное дело – офицер расспрашивает солдата о семье. Я решил, что Лухманову, видно, больше не о чем со мной говорить, и подумал, что надо доложить насчет подземелья. Он предупредил меня.

– Ладненько, – сказал он. – О личных делах потолкуем потом. Вы начали про подземелье какое-то, я вас перебил.

Лухманов выслушал с интересом. Слово «моргенрот» он записал. Я сказал, что одна шпионка будет, возможно, с повязкой, что обе они постараются что-то отыскать в газетах. Я усмехнулся при этом: очень уж случайными, бессвязными выглядели результаты моего посещения усадьбы. Но Лухманов и это все записал.

– Если я хоть чем-нибудь могу быть полезен, – проговорил я, – то очень рад. Можно идти?

– Нет.

– Слушаю.

– Вы пока поживите у нас. Так лучше.

Он провел меня в соседнюю комнату, показал койку, пообещал прислать со связным ужин и вышел, потирая свой больной глаз.

В комнате две койки, стол и огромная вешалка из оленьих рогов. Стены покрыты серой, шероховатой штукатуркой. В углу картина акварелью – корабль с ярко-красным парусом плывет по зеленой воде. Под картиной искривленная рапира для фехтования. Скучная комната. Чахлый садик за окном, весь захламленный какими-то рваными автопокрышками, тюфяками и еще не поймешь чем. Что нужно от меня Лухманову? От кого он прячет меня здесь?

Лягу спать. Черт с ним, с ужином. Но я не заснул. Я лежал и смотрел в потолок. Я силился свести концы с концами. Да, капитан определенно прячет меня. Прячет, точно мне угрожает опасность. Да, если Вихарева действительно приняли за Заботкина, прочитав мою фамилию на кисете, и действительно убили, а теперь тот, кто убил Вихарева, убедился в своей ошибке, то конечно... Странное дело, только что я мысленно спорил с Лухмановым, только что уверял себя и его, что кисет ни при чем и никакого заговора нет и все очень просто, а теперь вот лежу и не нахожу покоя. Лухманов чего-то недоговаривает. Он что-то знает.

Что? Что же?

Я ничего не понимаю. Я не только неуклюж, нерасторопен, я еще и глуп.

Лучше всего заснуть, дожить до утра. Но я даже заснуть не умею. Одна догадка нагромождается на другую. И вся эта груда догадок проткнута насквозь одной фразой, точно раскаленной иглой: Вихарев убит. Осколком или вражеской пулей, но убит. Это факт, и с этим ничего нельзя поделать, и никуда от этого не уйти. Это везде написано. Это написано на стене, на тусклой жестяной кружке, на никелированных шарах кровати. И я, быть может, виноват.

И если я виноват, то есть только один способ облегчить мою вину. Делать все, что прикажет Лухманов. Помогать Лухманову. Черт подери, как я хочу этого! Выяснить все до конца.

Скорее бы утро...

Я заснул поздно. Разбудил меня связной, принесший завтрак. Он поставил на стол тарелку и хлеб, сообщил, что Лухманов уехал рано, а мне выходить не велел.

– Арест, – сказал я.

– Смехота, – ответил связной с украинским акцентом. – Хлопец спит на койке, кушает наркомовскую норму, поправляется, а говорит: арест.

– Я шучу.

– Ты куда хотел идти?

– До ларька.

– Я схожу.

– Да не стоит.

– Схожу. Что надо тебе?

– Если не затруднит, дорогой, – сказал я, – возьми мне открыток пару.

Открытки он принес через несколько минут. Одну я послал в радиокомитет с просьбой еще раз вызвать по радио Ахмедову Антонину Павловну. Вторую открытку я адресовал в Дербентский порт, тоже с запросом относительно Тони, и только кончил писать, как вошел Лухманов.

Он вошел запыленный, в расстегнутой гимнастерке, сбросил накидку и крикнул:

– Чаю, Петренко!

– Тут еще много, товарищ капитан, – сказал я, пододвигая ему чайник.

– Это вы называете много? Нет, я меньше пяти чашек не пью. Я удивляюсь, как это при Иване Грозном жили без чая. Хотите, с трофейным сахарином? За компанию.

– Спасибо.

Мы выпили.

– Пейте еще, Заботкин.

– Хватит, спасибо.

– Думаете, вредно? Бросьте, чай – великая вещь.

– У вас хорошее настроение сегодня, товарищ капитан, – решился сказать я.

Меня подмывало сказать больше. Подмывало спросить, где был Лухманов, удалось ли что-нибудь еще узнать... Но Лухманов понял мой намек. Он опустил пустую кружку, стукнул доньшком и улыбнулся:

– Я все-таки прав, Заботкин. Правда, это еще только начало дела, но если я сегодня прав, это уже хорошо. Значит, есть шансы, что я и завтра буду прав. Как вы мыслите, разведчик товарищ Заботкин?

Я кивнул и уставился на него с выжидательным видом. А он стал рассказывать лишь после того, как доконал шестую кружку. Оказывается, он с утра осматривал место гибели Вихарева, спрашивал санитарок, шоферов.

Выяснилось вот что.

Вихарев, разведав «квакшу», благополучно вернулся в наше расположение. Он должен был явиться с докладом к подполковнику, но не застал его. Штаб снимался. На окраине села грузились машины. Вихарева не посадили, и он пошел к шлагбауму «голосовать». Его видели там влезавшим в кузов попутной трехтонки. Перед посадкой, в ожидании машины, Вихарев курил и держал на виду мой кисет с фамилией «Заботкин», вышитой медно-красными нитками. Машина шла в Юлемя, то есть к передовой. Наступление наше уже началось, и немцы били по дороге, особенно в том месте, где мост. Они давно пристреливали этот мост. Одну машину подбили, но не ту, на которой ехал Вихарев. Санитарки действительно подобрали четверых убитых. Трое лежали рядом с воронкой, а Вихарев – метрах в тридцати. Он не был

ранен – сегодня тщательный осмотр тела подтвердил это. Контузия? Но снаряд был небольшого калибра. Отчего же Вихарев выпал из кузова? Машина, мчавшая Вихарева, была так далеко от разрыва снаряда, что о воздушной волне говорить не приходится. Один из очевидцев – боец из автодорожной службы – видел, что Вихарев свалился с заднего борта машины не в момент разрыва, а позже. Свалился, точно его столкнули. Шедший сзади «студебекер» подмял его.

– Товарищ капитан, – не утерпел я.

– Да.

– Кто с ним ехал?

– С Вихаревым в кузове были пять или шесть девушек из строительного батальона. Такие же пассажиры, как и он. Шофер их не знает. Говорит, обыкновенные девушки-строители, в ватниках, с лопатами.

– Так...

– Ваше мнение, разведчик?

– Странно, что он свалился... Товарищ капитан, он же цепкий, как...

– Знаю.

Лухманов предстал передо мной в другом свете после этого рассказа. «Лухманов доверяет мне», – решил я. Этим, прежде всего этим, а не логичной связностью своих выводов рассеивал он мое недоверие. Действительно, снаряды, выходит, ни при чем. Заговор? Против кого? При чем тут кисет? Почему Лухманов каждый раз поминает этот проклятый кисет? Он опять недоговаривает. Я вздохнул.

– Кто же убил его?

– Тот, – сказал Лухманов, – кто убил Вихарева, очень боялся встретиться с вами, Заботкин. Страшно боялся. Панически боялся.

– Вы знаете?

– Пока предполагаю. Сегодня отдыхайте сколько угодно. А завтра мы с вами поедем в одно место... Тут недалеко.

Мы выехали часов в десять утра. Хотя июльское солнце жарило немилосердно, «виллис», несший нас стремглав по шоссе, был наглухо закрыт. Целлулоидные оконца были рыжие, и все на пути было рыжее. Наплывали и исчезали темно-рыжие сгустки деревьев, сгустки строений. Большой шмель – пестрый и мягкий, как матерчатая игрушка, – бился о целлулоид, о брезент и не находил выхода. «Вроде меня», – подумал я. Я уже устал строить предположения, фантазировать и просто ждал, что будет.

Рыжий холм встал впереди. Он рос. Вершина исчезла. Подножие раскинулось вширь, распахнулись перила мостика, показался как бы выскочивший из придорожного боярышника столб с синим крестом ветлазарета.

Понятно, куда мы едем. Мы едем к тому селу, где до наступления стоял первый эшелон штаба. К селу Аутсе. Лухманов сидит рядом и молча трет свой больной глаз. Я не спрашиваю ни о чем.

– Ячмень у вас, – говорю я.

– Замучил...

– Есть средство.

– Пробовал я всякие средства.

– А мед тоже пробовали? Нет? Самое верное средство, товарищ капитан. Тоня – моя жена – приложила мне меду, так, представьте, за ночь вытянуло.

– Серьезно?

– Да, вот, зайти на хутор...

– Ладненько. Петренко купит. Вам сейчас никуда не надо заходить без меня.

– Слушаю.

– Это и для вас лучше.

Лухманов как будто озабочен больше обычного, говорит отрывисто, короткими фразами. Похоже, что он торопится. Раз два он посмотрел на часы. Я поймал себя на том, что тоже тороплюсь.

Куда?

Замедлив ход, мы въехали на окраину села. Улица шла под гору, и внизу открывалось почти все село, пестревшее своими красными, синими, желтыми, лазоревыми домиками, как огромный цветник. Мы миновали квартал и повернули влево. С криком метнулись гуси. Тяжелая ветка рябины процарапала по брезентовому верху «виллиса». Здесь Лухманов вышел, велел мне ждать в машине, и поднялся на крыльцо небольшого одноэтажного здания, окруженного пышной оградой сирени.

В ожидании Лухманова я принялся рассматривать это здание.

Я силился обнаружить что-нибудь характерное в светло-фисташковом здании, привлекавшем к себе Лухманова, и не мог. Обыкновенный эстонский дом хуторского типа – с большим каменным сараем для скота, с амбаром и высокой колонкой колодца. И сарай, и амбар сложены из многопудовых булыжников, грубо обмазанных кое-где штукатуркой, и напоминают казематы форта, а домик легкий, хрупкий, веселый, с узорчатым флюгером на сверкающей оцинкованной крыше. Даже спущенные цветные шторы за окнами не навевают ощущения тайны.

Какая тайна?

Может быть, ее уже нет. Может быть, Лухманов вернется и скажет, что все выяснилось, что гибель Вихарева просто несчастный случай и никакого заговора нет, и вообще все просто, и Заботкина незачем больше прятать.

Я приоткрыл дверцу и вдохнул горячий, душистый воздух. Оцинкованная крыша сверкала так, что было больно смотреть. Почти нигде не было теней. Солнце стояло почти в зените, и кусты сирени, трава газона, гнездо аиста на крыше, пронизанные неумолимыми лучами, стали прозрачными. Еще немного – и дом со спущенными шторами станет прозрачным. За сараем, в невидимом пруду, лениво плескались гуси. Всюду проникала всепобеждающая ясность дня, исцеляющая ночные сомнения и страхи.

Лухманов наконец появился. Он сбежал с крыльца, вскочил в «виллис», посидел с минуту в нерешительности, и мы помчались. Лухманов тронул меня за рукав и сказал:

– Вы разведчик, Заботкин.

– Точно.

– Вы ничему не должны удивляться. Даже если... даже если вы увидите сейчас хорошо известную вам женщину с татуировкой на руке... С синей розой. – Он показал на запястье.

– Тоня? – крикнул я.

– Да. Очень возможно, что вы увидите свою жену. Если мы нагоним...

Нужно ли говорить, что я ожидал чего угодно, только не этого. Как человек, хвативший одним духом стакан водки и силящийся перевести дух, я уставился на Лухманова.

– Она... она была здесь?

– Была.

– Как... когда...

Но в следующий миг я весь сжался от холода. Не сразу дошло до меня значение того, что сказал Лухманов. Если Лухманов гонится за Тоней, то значит... значит, Тоня преступница. Моя Тоня? Я повернулся к Лухманову, столкнулся с его взглядом и сказал:

– Это ошибка.

– Почему?

– Товарищ капитан, – сказал я. – Если вы подозреваете в чем-нибудь Тоню...

– Ну, допустим.

– Уверяю вас, это не она.

– Докажите.

– Товарищ капитан. Я надеюсь на Тоню, как на себя.

– Вы долго жили вместе?

– Нет... не очень.

– Сколько?

– Полгода.

– Даже меньше небось, – сказал капитан, быстро взглянув на меня. – А до того долго ли вы были знакомы? Два месяца, три – самое большее?

– Два.

– Вот видите. Хотя что нам спорить. Догоним – узнаем. Наблюдение вдоль дороги, Заботкин. Нагоним. Скорость приличная, имеем все шансы!

Наша машина – маленькая и сильная, как степная лошадка, – нашла в себе еще нетронутые резервы скорости. Мы ветром слетели с горы, оглушительно пересчитали бревна мостика, внеслись на другой косогор. Ветряная мельница выросла, доросла до облака, взмахнула крыльями и пропала. Мыза с сорванной крышей, куща дубов над заросшим кладбищем, подбитый, вздыбившийся танк с черным крестом и надписью мелом по-немецки: «До свидания», – все росло и пропадало сзади, росло и пропадало. За третьим косогором – самым высоким – открылись равнина и белая, выжженная солнцем дорога, по которой зеленой букашкой уползал грузовик.

– Они, – сказал Лухманов.

Он взялся за баранку, а шофер сидел рядом и снисходительно улыбался, как всегда улыбается шофер, когда начальник занимает его место. Я положил локти на спинку водительского сиденья и, дыша Лухманову в затылок, следил за стрелкой скорости, с трудом одолевшей еще одно деление на циферблате. Восемьдесят километров. Догоним, конечно, догоним. Птицей, ветром перелетел бы я расстояние, оставшееся между нами и грузовиком, чтобы поскорее узнать, в чем дело. Узнать, кто эта баба, которую Лухманов путает с моей Тоней...

Уже можно была различить какие-то мешки в кузове. На них три женские фигуры. Лица их еще неясны, двое в платках, одна в пилотке, кажется... Да, в пилотке. Я приподнялся, упершись локтями, и всей тяжестью навалился на Лухманова, потому что он резко затормозил и, свернув на обочину, встал.

– Эх, ч-черт...

– Стой, Заботкин! – Лухманов выскочил из кабинки. – Что-то с тарантасом нашим...

Он открыл чехол, запустил руку в мотор и извлек какую-то деталь. Шофер, кинувшийся к мотору вслед за ним, хотел ее взять.

– Разрешите...

– Ты вот что, – сказал Лухманов, – посиди там, на травке. Да-а, братцы, – продолжал он, оттопырив губы, – конь у нас совсем того... скиксовал. Система Монти: день работает...

– Товарищ капитан...

– Год в ремонте, – закончил капитан. – В радиаторе, гляди, мыши завелись.

– Ой, да что вы...

– Ты, Егор, лучше помалкивай. По вине материальной части, – Лухманов снова строго оттопырил губы, – сорвали задание!

Я вздохнул.

– Еще бы немного – и догнали. Да время не ушло, товарищ капитан. Куда они от нас денутся? Если быстро наладим, так все будет в порядке. А? Товарищ капитан...

Лухманов увидел меня, расстроенного, топчущегося от нетерпения по пыльному шоссе, странно улыбнулся, и я обомлел: Лухманов больше не торопился. Ленивым движением он ввинтил дырчатую трубку обратно, неторопливо сел в кабинку на свое обычное место и приказал:

– Домой, Егор.

– Товарищ капитан! – крикнул я. – А как же они... Как же?

– Приедем домой...

Он не договорил. В зеркальце, укрепленном над ветровым стеклом, отразилось лицо Лухманова – веселое и даже умиротворенное. Мы повернули обратно.

Шофер, сперва тоже недоумевавший, теперь от времени до времени бросал на меня многозначительные взгляды. Я же ничего не понимал, пока не получил от самого Лухманова неожиданное разъяснение.

– Ничего с мотором не случилось, товарищ разведчик Заботкин, – сказал он, когда мы вернулись домой. – Мотор здоров как бык, если такое сравнение вообще допустимо, и водитель Егор – замечательный водитель, имейте в виду, товарищ разведчик. Мы отмахали бы с легкостью хоть полтысячи километров, если бы в этом была надобность. Скажу вам откровенно, ругайтесь не ругайтесь... Я вас решил проверить. Я серьезно. Мы с вами знакомы два дня. Правильно? Надо проверить. Вдруг, думаю, мы начали не с того конца? Вихарев погиб случайно, никакого преступления нет, Заботкина убирать с дороги никто не хочет, а, напротив, он сам с этой компанией связан и врет, что не знает, где его жена. Обижаетесь? Не надо, разведчик. Не надо. – Он посмотрел на меня необычайно ласково. – Не надо. Думаю: если Заботкин обманывает меня, тогда ему не очень-то приятно при мне сталкиваться лицом к лицу со своей женой. Он не старался бы догнать...

Я смотрел в пол.

– Тоня вообще ни при чем, товарищ капитан, – угрюмо ответил я. – Вы сами сказали, что всю эту историю с погоней нарочно... ну, поставили, что ли.

Лухманов усмехнулся.

– Интеллигентный товарищ, – проговорил он. – Ведь собирались сказать – выдумал. Да-да, разведчик. Я все мысли ваши читаю. Они у вас на лбу написаны, и это сильно облегчает наше знакомство с вами, знаете. А что касается вашей жены, – тут вся веселость его исчезла, – то это вопрос особый. Вопрос сложный. Но, возможно, мы с вами скоро увидим ее... в доме на Моргенрот.

– Моргенрот?

– Совершенно верно, на улице Моргенрот. Читальня. Тот самый дом в Аутсе, возле которого мы останавливались. Я вижу, вы понятия о нем не имеете, Заботкин. Мне-то он давно известен.

Одна нить протянулась от подземелья баронской усадьбы к дому в Аутсе, затем к мертвому Вихареву, затем к Тоне или к подлой шпионке, которую Лухманов почему-то – непонятно почему – принимает за Тоню. Все сматывается в один клубок, и я барахтаюсь в этом клубке, и нити – смолистые, липкие нити вроде сапожной дратвы – режут мне лицо, руки. Нет, это не Тоня. А если Тоня, то не шпионка, а настоящая Тоня, родная, честная, любимая Тоня.

Пусть во всем прав Лухманов, но Тоню он не знает. Тоня – немецкая шпионка?! Нет, пока не приведут ее, пойманную на месте преступления, пока не посмотрю ей в глаза... Этого не будет. Нет такой Тони – изменившей мне, изменившей всему, что нам дорого, продавшей гитлеровцам.

– Товарищ капитан! – взмолился я. – Если бы вы могли сообщить, что с Тоней. Или... или вы не доверяете мне?

– Глупости. Не доверяю! Выкиньте это из головы. Я просто не хочу ослаблять вашу надежду. Пока мы не выяснили до конца.

– Эта неизвестность...

– Неприятная штука. Верно.

– Товарищ капитан! Лучше любая правда.

– В том-то и дело, что стопроцентной правды насчет вашей жены я вам не скажу. Не скажу, потому что не знаю. Процентов на девяносто, девяносто пять... Почитайте это. – Он порылся в планшетке и достал пачку бумаг. – Последние, так сказать, сведения.

Пока на кухне шипели оладьи, а Лухманов разговаривал по телефону, я читал.

В июне тысяча девятьсот сорок второго года Тоня Ахмедова, выехавшая из Дербента, слезла с поезда у Ладоги. Ленинград был в блокаде, и путь с Большой земли на Малую землю пролегал через озеро. Тоня почему-то опоздала на пассажирский пароход и села на буксирный, отправившийся на четыре часа позже, под вечер. Не следовало ей опаздывать. Пассажирский благополучно прибыл к западному берегу, а буксир «Гагара» попал в жестокий шторм. Июньский шторм на Ладоге – явление редкое, но грозное. Прибрежные метеостанции засекли десять баллов, в портах вывесили сигналы, запрещающие судам уходить в глубь озера, и в это время маленькая «Гагара» крутилась, как щепка, в водовороте. Слабый двигатель не выдерживал спора со стихией – буксир на середине пути сорвался с курса и наскочил на песчаную банку. Топки пришлось погасить, потому что вода стала заливать машинное отделение.

Кроме Тони на «Гагаре» было еще одиннадцать человек, не считая команды. Все сгруппировались на носовой палубе, поднимавшейся из воды, и стояли, уцепившись за ванты, обдаваемые волнами.

Наступила ночь. Шторм не утихал. Хотя в июне на Ладоге светло круглые сутки, эту ночь нельзя было назвать белой. Нависли свинцовые облака, пробежал мелкий, колющий дождь. Под ударами волн «Гагара» медленно сползала с банки, и люди на носовой палубе все теснее прижимались друг к другу.

Корма уперлась в камень. Судно перестало сползать – оно лежало теперь неподвижно, накренившись на правый борт, с погасшим топовым огнем на верхушке мачты. Никто не мог сказать, однако, останется оно в таком положении или будет сброшено с банки и пойдет на дно.

Семеро человек решили покинуть «Гагару». Среди них были четверо мужчин и три женщины. Они отвязали шлюпку, сохранившуюся на левом борту, и пустились на веслах к берегу, до которого было километров пять. Матрос Ластухин, сообщая обо всем этом в своем донесении, не знал никого из семерых пассажиров по имени. Вскоре, после того как шлюпка скрылась из виду, шторм усилился, огромный вал накатился на банку и потащил за собой «Гагару», Ластухин обхватил подвернувшийся под руки спасательный круг и упал в воду. Через несколько часов Ластухина подобрал военный катер.

Впоследствии Ластухин узнал, что капитан, механик и еще один матрос спасены другим катером. «Гагара» затонула. Что стало с пассажирами, он не знает. Их оставалось пятеро: трое мужчин и две женщины. Ластухин закончил донесение словами: *«Они, наверно, погибли»*.

Я читал и перечитывал эту фразу: *«Они, наверно, погибли»*. А шлюпка? О ней матрос Ластухин тоже ничего не знал. Я торопливо взял следующий листок.

Из текста явствовало, что в Шлиссельбурге был допрошен Анисим Иванович Бунчковский, сорока четырех лет, смотритель пристани, работавший при немцах. В июне тысяча девятьсот сорок второго года, во время сильнейшего шторма на рейде Шлиссельбурга, показалась лодка с гражданскими лицами. Она была тотчас остановлена немецким военным катером и под дулами пулемета и винтовок препровождена к пристани. Это было часов в семь утра, так что Бунчковский мог хорошо рассмотреть задержанных. Их было семеро: четверо мужчин средних лет и три женщины. Он видел их, когда они спускались по сходням, шатаясь от усталости и хватаясь за перила, и заметил, что у одной молодой женщины на руке татуировка – синяя роза. Женщина эта на вид двадцати двух – двадцати четырех лет, среднего роста, скорее худая, чем полная. Волосы у нее светлые. Платье на ней было мокрое и рваное, так же как и на ее спутниках. Они все выглядели как потерпевшие кораблекрушение. Шли задержанные молча, подгоняемые прикладами немецких солдат.

Бунчковский слышал, что шлюпку принесло к Шлиссельбургу с советской стороны течением и штормовыми волнами, и считает, что это вполне вероятно, так как шторм достиг тогда невиданной силы. О судьбе семерых советских граждан сведений не имеет.

На этом сообщение кончалось.

И еще один листок лежал передо мной на столе, свежий листок из блокнота, весь заполненный стремительным, колючим почерком Лухманова:

«Из архива штаба 25-й немецкой авиационной дивизии, связка 18, дело № 211, особо секретное, отдела XI. 9.5.1944.

Агент “Синяя Роза” прибыла на участок армии 7.5.1944 г. от “Руперта”. Прикомандирована к группе “Германриха”. Оценка “Руперта” хорошая. Жила в Советском Союзе (г. Дербент). 23.6.1942 г. непреднамеренно перешла линию фронта (район Шлиссельбурга). Задержана сторожевым судном в числе пассажиров, спасшихся с затонувшего парохода “Тагара”. Кончила курсы “Ост” 14.1.1944 г. Знает в совершенстве русский язык и слабо – язык дагестанских горцев».

До сих пор у меня оставалась надежда, но теперь и она стала тонуть в поднявшемся отчаянии. Я то кусал подушку, сжигаемый бессильной злобой против Тони, изменившей мне и всем нам, оскорбившей мою любовь, мою надежду, то уговаривал себя, что есть еще один процент надежды, раскаивался, мысленно просил прощения у настоящей Тони, которая, может быть, ждет меня и дождется и будет смеяться вместе со мной над трагическим недоразумением...

Утром сквозь ясное, точно промытое стекло итальянского окна прошел желтый закатный луч и лег на одеяло – невесомый и нежный. В комнате стоял, скрипя кожаным пальто, Лухманов.

– Товарищ капитан, – сказал я, – отпустите меня на передовую.

– Вы долго думали?

– Смеетесь, товарищ капитан...

– Зачем на передовую, кем на передовую?

– Стрелком, пулеметчиком – все равно. Воевать, понимаете? Не могу я больше так.

– Понимаю. Я вас отлично понимаю. Разведчиком быть трудно, работа кропотливая, скучная, а стрелком – проще. Так? Ну так вот: не пойдете вы, дорогой товарищ Заботкин, на передовую.

Я не находил слов, чтобы возражать. Голос этого сильного, уверенного человека действовал на меня, как укрепляющее лекарство. Я слушал его и хотел, чтобы он долго-долго сидел тут и говорил.

– Я знаю, в чем дело, – продолжал он. – Но я думал, что вы крепче. Правда, я сам сказал тогда, помните, – девяносто пять процентов против вас. Но у вас остается пять процентов. Целых пять.

– Нет пяти.

– Пусть один. Зачем же вы так быстро уступили этот один процент? Уступили и начали бить отбой по всей линии: в разведке работать не хочу, есть не хочу. – Он заметил тарелки с нетронутым ужином. – Черт знает что такое! Голодовку объявили? Приказываю немедленно съесть.

Он сидел до тех пор, пока я не очистил все до последней крошки. Потом встал и вышел.

Через несколько минут он вернулся и неожиданно спросил меня, занимался ли я когда-нибудь огородничеством.

– Напрасно, – сказал он, услышав мой отрицательный ответ. – Кто у нас специалист? Петренко, наверно? Незаменимый товарищ. Петренко!

– Слушаю вас.

– Овощи умеешь сажать?

– Мало-мальски.

– Просвети старшину. Пусть попрактикуется. Время летнее. Июль. Для капусты, для брюквы поздновато, конечно. Какие семена требуются? Можно салат, редиску. Доставай семена, и приступайте вдвоем. Покажешь старшине, а то он и лопату не знает, каким концом втыкать.

– Где прикажете?

– Здесь. В саду.

Петренко выполнил поручение с такой быстротой, что мы через двадцать минут разложили семена на листке мокрой бумаги, – как полагается перед посадкой, и начали штурмовать тощую, каменистую землю.

– Стукаем, стукаем, – молвил Петренко, оживившись, – и настукаем мы германский клад – запас оружия, или деньги, или тот ихний шнапс.

– Тебе шнапс...

– Ни... Прежде я, правда, из хаты на ногах, а в хату на бровях. Теперь ни.

– А что?

– Обещался Софье. Жене моей. Она говорит: ты, Герасим, пропадешь на войне, если лакать будешь. Обещай мне, говорит, что не станешь.

– Она на Украине?

– Не знаю где. В селе нету ее. Не проживает...

Он рубанул лопатой, поднял обломок кремня, долго и сосредоточенно вертел его в крупных, толстых пальцах, затем с силой швырнул через дорогу.

– И у меня, – сказал я, – не проживает.

Вспоров, перекопав лопатами целину, мы сделали грядку, причем с моего бока она получилась выше и обрушилась. Тогда я сделал бок гряды более покатым. Все-таки он опять обрушился.

– Здесь бабы не такие, как у нас, – сказал Петренко. – Я только одну черноглазую видел. Сегодня, как на хуторах шукал мед. По глазам точно с Украины, а разговаривает руками. Я кое-как втолковал: мед, мол, покупаю. Она обрадовалась отчего-то да повела глазищами – ну, думаю, сейчас загуторит по-нашему. Мы с ней толковали, толковали. Сегодня, видишь, у нее меду нет, а завтра принесет. Я говорю: «Мне завтра не надо, мне сегодня надо». Не понимает. Придет, должно.

После обеда мы разровняли гряду и посеяли редиску. Семян хватило только на половину гряды, хотя Петренко намеревался засеять всю. Петренко сетовал, что редиска вырастет слишком мелкая. Ему не придется ее собирать: армия наступает, но он все-таки сетовал. Потом мы остановились и прислушались, так как что-то прошумело вдали.

– «Катюша», – сказал я.

– Далеко продвинулись наши, – заметил Петренко. – Артиллерии совсем не слышно. Километров на тридцать дали. Говорят, Валга наша.

– А мы салат сеем, – проворчал я.

Чего ради послал нас Лухманов на огородные работы? Кому нужны эти грядки, если мы не сегодня завтра, не завтра – через неделю уйдем дальше? Эти вопросы были, должно быть, написаны у меня на лбу. Лухманов, вышедший под вечер посмотреть, как мы работаем, укоризненно покачал головой:

– Не нравится, разведчик?

– Огородник, товарищ капитан.

– Ну, идем, идем, потолкуем. Надо вам поднять настроение. Петренко, ставь чай. Огородник, говорите? Вы, товарищ старшина Заботкин, – он шел посмеиваясь, сбивая палочкой одуванчики, – решили, что вы теряете свою квалификацию? А я мог бы вам ответить, – он подобрал одуванчик, – я мог бы вам сердито ответить: нельзя терять то, чего еще нет. Нет. – И он дунул на одуванчик. – В нашем смысле вы еще не разведчик. У вас странная особенность,

Заботкин: то, что вам непонятно или не нравится, вы отвергаете. Знаете, один американский фермер приехал в большой город, пошел в зоологический сад, ходил-ходил вокруг клетки с жирафом и все-таки не поверил. «Нет, – говорит, – такого животного не может быть». Вот и вы. Поймали там в подвале непонятные вам слова – «дом», «на утренней заре» и прочее. Непонятно, – стало быть, значения не имеет. Так вы рассуждаете. Появилась шпионка с синей розой. Вы сразу: это кто угодно, только не моя жена. Нет, Заботкин. Если хотите быть настоящим разведчиком, то вот вам правило: ничему не удивляться, все проверять... Вы читали Достоевского? – продолжал Лухманов уже за столом с кружкой в руке. – Читали, разведчик?

– Кое-что.

– Ну, что именно?

Я назвал несколько романов. Он помешал чай, отпил, откинулся на спинку стула.

– Его иногда страшно читать. Здоровому человеку страшно. В самые темные закоулки, в самые путанные лабиринты души человеческой ведет. Любит бродить в этих лабиринтах, любит. Но я не о том. Подумайте, какие в его книгах необычайные события, какие совпадения, как неожиданно действуют герои. А читали вы, что сам Достоевский пишет о своем творчестве? Он пишет, что ничего не выдумал, что все ему подсказала жизнь. Да, Заботкин. Вы хотите, чтобы жизнь была простая. Правда? А она пока что сложная, и эта сложность не всегда только занимательна, как вам хочется, а и трагична. Так что вернемся, Заботкин, к нашим грядкам с салатом и с чем еще...

– С редиской.

– Точно, с редиской. Опять кислый тон! Так-с. – Он опрокинул пустую кружку и показал мне место рядом. – Поупражняться с редиской придется еще день-два. Кстати, тут ограда приличная, охрана имеется, так что ничей нескромный взор не откроет, кем стал разведчик Заботкин. Затем одеваем вас: сапоги немецкого образца, пиджак, какая-нибудь фуражка железнодорожника со старым эстонским гербом. Нет больше Заботкина, есть хуторянин по имени... Имя подберем.

– Так я же по-эстонски...

– Ни слова? И отлично. Вы – русский крестьянин, угнанный в свое время немцами, а теперь получивший землю и дом. Дом ваш в Аутсе. Тот самый дом на Утренней Заре. В этом доме, товарищ Заботкин, при немцах жил полковник инженерных войск, очень крупный специалист по оборонительным сооружениям некий Вальденбург. Отто Вальденбург. Пленные нам рассказали, чем он тут занимался. Он руководил постройкой двух линий обороны – линии «Пантера» и линии «Барс». С «Пантерой» мы справились еще у Пскова. «Барс» впереди. Наши сейчас как раз подходят к этой линии. Это последняя надежда немцев. За линией «Барс» мы уже без больших остановок пойдем на Пярну и Ригу. Понимаете? Немцы так и пишут – у меня есть выписка из приказа их командующего, – мол, линия «Барс» – последний оплот у дальних подступов к Германии. К Германии! Чувствуете, разведчик? Ну-с, полковнику Вальденбургу пришлось ретироваться из здешних мест довольно поспешно. Даже весьма поспешно. И по видимому, полковник оставил в своем доме важные чертежи. Чертежи линии «Барс», быть может. В точности сказать мы не можем, но догадываемся, – очень уж стараются немцы их вырвать, пока они не попали к нам. Нам они, конечно, нужны. Представляете, сколько жизней мы сэкономим, сколько крови, если будем заранее знать, что они там понастроили? Представляете? Недели две назад, вскоре после того, как мы заняли Аутсе, возле полковничьего дома задержали одного подозрительного субъекта. Где чертежи, он не сказал. Но с тех пор мы установили за домом наблюдение. Затем поступили такие сведения: немецкая разведка перебросила в наш тыл агента-женщину со знаком синей розы на руке. Задание – выкрасть чертежи. Очевидно, дело у нее неважно, чертежи еще на месте, потому что вслед за ней полетела к нам еще одна птица, так ведь? Что мешает шпионке с синей розой? Вы, Заботкин, вы, надо думать. Вы можете ее опознать, и она вас боится, панически боится, как я уже говорил. Вот

вам подоплека убийства Вихарева, убийства грубого, неосторожного, совершенного явно под влиянием паники. А что касается газет...

– Тоня убила Вихарева?

– Нет, в убийстве я ее не обвиняю. Убить могла та, вторая, понаслышке знавшая о вашем существовании и заметившая ваш кисет у Вихарева. Или другой, еще неизвестный нам агент. Между прочим, прошу не перебивать. Что касается газет, в которых надо искать, – это деталь существенная. Как сказали вы про газеты, я немедленно в Аутсе. Ночью с фонарями мы осмотрели весь дом и на чердаке нашли подшитые пачки советских газет предвоенного времени. Снесли их вниз, в читальню. Заведующим читальней выдвинут лейтенант Поляков, вы увидите его. Сейчас сколько? Семь часов? Да, читальня открыта. На столе и старые газеты, которые мы на чердаке нашли, и новые. Любой заходи и читай. Поляков, понятно, поглядывает, кто заходит. Если в старых газетах есть какой-нибудь ключ или... то агент, возможно, и клюнет на этого червячка. Подождем день-два. Если не клюнет – в доме появится хозяин. Это вы, Заботкин. Появится деловитый, хозяйственный мужичок, примется за огород. Ясно?

– Ясно, товарищ капитан.

– Довольны? Это вам нравится, я вижу. Значит, есть смысл в редиске? А, Заботкин?

Я должен был признать, что есть.

Армия готовилась к прорыву. Предстояло форсировать реку и с боями подняться на холмистый берег, поросший жесткой щетиной елочек-коротышек.

Это был хребет «Барса», – перелом его должен был привести к краху всей немецкой обороны «на дальних подступах к Германии». И армия деловито, методически готовилась. Днем эта подготовка к наступлению почти не замечалась: белые и мягкие от известковой пыли дороги лежали пустынные, спокойные и молчаливо берегли свою тайну. Дороги говорили по ночам, говорили грохотом танков, тяжелым звоном орудий, шорохом автомобильных колес, назойливым, дребезжащим тархтением повозок. И был еще за всеми этими звуками один ведущий мотив, – это мерный, как падение больших капель дождя, стук солдатских подкованных ботинок. Когда я просыпался и вслушивался, и думал о бесчисленных невидимых воинах, идущих мимо спящих домов, я думал: как хорошо было бы, если бы каждый в эту минуту услышал ласковое слово, сказанное близким человеком, пусть даже отзвук голоса жены или невесты. У каждого есть своя Тоня, у каждого на пути кровь. В этой войне мы бьемся за все, за все, что нам дорого. Такая эта война...

Дорога говорила всю ночь. В предрассветной дымке проносились последние «катюши», закутанные черным брезентом, пушечные стволы, закрытые досками и влекомые огромными, заваленными хвоей тракторами. А с восходом солнца снова воцарялась тишина. Дорога становилась обыкновенной сельской дорогой с отпечатками коровьих копыт на известковой пыли. А в прифронтовых приречных лесах, на высоте сто семь и других, каждая такая ночь приносила перемены: ближе к реке поросль делалась как будто гуще – там новоприбывшие сооружали шалаши, маскировали зеленью огневые точки, сооружали навесы над слесарными тисками, бочками с горючим. Рисуя себе эти картины фронта перед наступлением, я злился, потому что все еще ухаживал за грядками.

Лухманов с утра уехал и обещал быть к обеду. Вестовой Петренко жарил на кухне оладьи, а я сеял салат. В это время в калитку постучали. Я почему-то сразу, не задумываясь, решил, что это капитан, и побежал открывать. Поворотом ключа я открыл доступ в наше убежище внешнему миру, и он вошел в виде девушки-крестьянки, одетой в пестрое, зашитое на плечах и на груди ситцевое платье. Желтый платок был повязан по-эстонски, концами назад, а лицо было смуглое, с матовым южным оттенком, глаза темные. Девушка протянула мне глиняный кувшин.

– Мед, мед, – сказала она.

Кроме этих слов, произнесенных с сильным акцентом, я ничего не добился от нее. Она повторяла их, делала какие-то знаки в направлении, крыльца. Тут я вспомнил черноглазую, обещавшую Петренко принести мед.

Я кликнул Петренко. Он подошел, поправляя засученные рукава.

– Пришла, – засмеялся он. – Видишь, глаза какие, – ровно наша с Украины. Давай мед.

– У капитана ячмень прошел, – напомнил я.

– Чудак. Я не с медицинской целью. Ты обожди, я за деньгами сбегая. Сколько с меня? Не понимаешь? По-русски надо учиться, голова круглая. Побудь, Заботкин, я одним скоком...

И тут я поймал на себе взгляд девушки. Я повернулся к ней. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел такое резкое, кричащее выражение страха...

Надо рассказать Лухманову. Правда, рассказать – значит, признаться в своей дурацкой неосторожности, в своей тупой, бездарной неуклюжести.

Разведчик!

Хорош разведчик! Легко представить, что скажет Лухманов. «Вас раскрыли», – вот что он скажет. А это... Это в военное время и вообще во всякое время – преступление. Да, преступление. Но все равно Лухманову надо сказать. И прекрасно. Заботкин получит, что заработал. Так и надо. Ожесточившись, я с нетерпением ждал Лухманова.

На этот раз он не заставил себя долго ждать. Выслушав меня, он нахохлился.

– Это был страх?

– Страх, товарищ капитан.

– Вы не ошиблись? К знатокам человеческой природы я бы вас не причислил...

– У нее это так ясно было... Я никогда не думал... Я не думал, что это может так броситься в глаза. Потом она, правда, успокоилась или взяла себя в руки, не знаю. На лице это выражение пропало. Но вот что я еще заметил: ей не терпелось поскорее уйти. Как Петренко принес деньги, так давай бог ноги... Товарищ капитан, я себя вел как не знаю кто... Я сознаю...

Непонятно: Лухманов воспринял новость спокойно. Слишком спокойно. Когда я начал излагать свои домыслы насчет черноглазой хуторянки, столь непохожей на местных жительниц, и заикнулся, не она ли убила Вихарева, Лухманов взял кувшин с медом и понюхал.

– Чудесный мед, – сказал он. – Между прочим, она придет за кувшином, если ей потребуется повод...

– Документы ее посмотреть бы.

– Если она явилась сюда, то документы, надо полагать, в порядке. Если, если... – сердито повторил он. – Столько «если» накопилось, что ни тпру ни ну. Да, Заботкин, если ваше впечатление правильно, то вы, разумеется, – и тут он выговорил слово, которое я сто раз мысленно сказал себе, – вы, разумеется, раскрыты.

– Да, – вздохнул я.

– Хорошо это или плохо – вопрос. Скорее всего, хорошо. При настоящих обстоятельствах хорошо. Поставьте себя в положение врага. С одной стороны, сейчас канун боев на этой пресловутой линии «Барс». Враг понимает, что наш интерес к чертежам повышается. Того гляди, мы разыщем чертежи. С другой стороны, Заботкин оказался отнюдь не покойником. Больше того, он действует заодно с Лухмановым? Так? Как же, по-вашему, враг будет действовать?

Я подумал.

– Он запаникует, товарищ капитан, – заявил я. – Он горячку начнет пороть.

Лухманов улыбнулся:

– Делаете успехи, разведчик. Да, я тоже нахожу, что он возьмет, так сказать, новую скорость и, возможно, пойдет напролом. Вас мы в обиду не дадим, конечно, да он и не станет сейчас специально заниматься вашей особой. Когда враг идет напролом, разведчик, – он больше рискует.

– Да, но...

– Что? Вы хотите сказать: рискуем больше и мы? Верно. Но пусть боится риска тот, кто слабее. Не так ли, разведчик? Читальню подождем закрывать. Дом немаленький, хватит места и вам и Полякову. А вы, – он вдруг строго посмотрел на меня, – воображаете, что я вас простил? Напрасно. На первый раз делаю вам замечание.

Затем он велел мне переодеться, а Петренко – раздобыть ручную тележку.

Я надел короткие сапоги немецкого образца, залатанные коричневые шаровары, пиджачок из дешевенького полушерстяного материала, тоже изрядно затасканный и чиненный на локтях, и в довершение старую форменную фуражку – не то железнодорожника, не то почтальона. Лухманов вручил мне документы на имя Прилепина Егора Павловича, угнанного немцами из Псковщины и получившего в Аутсе – на улице Утренней Зари – хозяйство бывшего полиция, удравшего в Германию. Затем я для виду нагрузил тележку разным хламом и под утро отбыл.

В тихих прохладных сумерках проселками, чтобы не очень попадаться на глаза, я шагал в Аутсе, катя перед собой тележку. По росистой траве безмолвно пробегал ветер. Я вспомнил наш поход с Вихаревым, когда такой же предрассветный ветер сорвал пелену тумана на просеке, вспомнил слова Лухманова: «Тогда, значит, вы раскрыты», – и невольно заторопился. Скоро ли рассвет? По времени должно было быть уже светло, но день медлил, с запада мчались рваные, испуганные облака. Стало не светлее, а, напротив, темнее, и неожиданно полил дождь.

Дождь полил такой жестокий, что я за несколько минут промок до нитки. Пытаясь спастись, я лег под тележку. В результате я вымок еще больше. Трава напилась водой, точно губка. Стало холодно, зверски холодно. Что мне было делать? Я выбрался, взялся за мокрые поручни и снова что есть силы быстро покатыл тележку по ухабистой, размякшей дороге. От этого я согрелся и даже не очень огорчился, когда лейтенант Поляков, открывший мне дверь, растерянно произнес:

– Что же вам дать сухое?..

– Ничего, товарищ лейтенант, – сказал я бодро. – Солнце высушит.

– Барометр падает, – ответил он.

Поляков повел меня к себе в мезонин, порылся в чемодане и вытащил сухую рубашку. Больше ничего не нашлось. Не мог же я вырядиться в военное!

Поляков моложе Лухманова. Он высокий, с длинными тяжелыми руками боксера. На щеке шрам. Волосы светлые, такие светлые, что кажутся седыми. Смотрел я на него первое время с настороженностью: вот начнет расспрашивать о Тоне. Лухманов, конечно, все рассказал обо мне. Но Поляков оказался человеком неразговорчивым. Он спросил меня, играю ли я в шахматы, и после этого минут десять молчал. Я сказал, что нет, и по выражению его лица не мог понять, огорчился он или нет. После шумной, всегда несколько приподнятой атмосферы в доме Лухманова я вдруг ощутил себя на отшибе с этим молчаливником в маленькой комнате мезонина, наполненной шумом хлещущего снаружи дождя. Но вы понимаете, что я не хотел быть на отшибе, я хотел действовать, и, когда Поляков предложил мне раздеться и лечь, я отказался.

– Капитан приказал мне сразу заняться хозяйством, – пояснил я.

– Вам холодно.

– Пустяки.

– Хорошо, – сказал лейтенант. – Я вам покажу помещение.

Мы прошли по чердаку, заставленному поломанной, простреленной револьверными пулями мебелью, и спустились в первый этаж. Он был разделен плотными, до потолка, дощатыми перегородками на три комнаты. Одна, самая меньшая, служила кухней. Плита, столик, полки с дюжиной фарфоровых банок, помеченных надписями по-немецки: «мука», «соль», «сахар», в углу бутылки с этикетками французскими, югославскими, португальскими. Свет из окна, на три четверти забитого фанерой, освещал рекламу кофейной фирмы «Перейра»,

изображавшую полуголую, кофейного цвета женщину под пышной сине-зеленой пальмой. На полу, возле плиты, куча мятой бумаги и щепок.

– Кто готовит тут? – спросил я.

– Мой связной тут себе варил, – сказал Поляков. – А рядом он спал. Его нет, его капитан отозвал. Вы вместо него.

Рядом была комната, которая могла бы показаться уютной, если бы меня не начал пробирать холод. Посередине стояло какое-то растение в кадке. Два кресла красного дерева, широкая кровать с никелированными спинками, коврик. Должно быть, здесь была спальня полковника. Из нее – только из нее, а не из кухни – вела дверь в читальный зал.

Видимо, он был раньше столовой, этот читальный зал. Справа от входа – громадный буфет, блистающий металлическими украшениями и оттого похожий на орган в кирке. Слева – голландская печь. Под окном – узкий, длинный стол со старыми подшивками газет, теми самыми, которые Лухманов разыскал на чердаке и распорядился выставить в качестве возможной приманки. На другом, круглом, столе под висячей лампой были разложены новейшие газеты из Москвы, Ленинграда, брошюры на эстонском языке. Из читального зала на улицу был один выход – прямо в дверь, через сени и на крыльцо. Из трех окон одно было фанерное, а два других – цельные, недавно вставленные. Все эти подробности я старательно откладывал в уме, памятуя, что следователи – герои моих любимых в юности книг – всегда тщательно изучали планировку здания, в котором им предстояло работать.

– Открываем в семь, – сказал Поляков.

– А закрываете?

– В одиннадцать.

Мальчишеское желание шевелилось во мне: задать еще вопрос Полякову, глубокомысленный вопрос, который бы сразу показал, что Заботкин не новичок, что Заботкин тоже человек бывалый. Но зубы у меня стучали от стужи, и я не нашел ничего другого, как спросить:

– За домом следят?

Поляков усмехнулся.

– Разумеется, – сказал он. – Вы как... прилично стреляете?

Он спросил таким же тоном, как раньше по поводу игры в шахматы. Тонем спокойным, но не безразличным. Огромным хладнокровием, уверенностью в себе вдруг повеяло от этого сдержанного человека с руками боксера. Я поспешил заверить, что стреляю прилично, хотя голос мой при этом звучал не особенно убедительно. Так как зубы мои отбивали неистовую дробь, лейтенант предложил снова:

– Лягте лучше.

– Не стоит.

– Ну смотрите.

– Сейчас я займусь хозяйством, – сказал я. – Я мигом согреюсь. Тут лопата есть?

Лопата нашлась, и я, пунктуально выполняя приказ командира, отправился в сад. Нужно ли говорить, что он был запущен. Ягодные кусты заросли лебедой и крапивой. Молодые яблоньки тянулись из этого засилья сорняков, как утопающие из морских волн. Я воткнул лопату в землю и обстоятельно, любовно, как подобает хозяину, обрезал сухие ветки. Дождь прошел, но солнце не выглядывало, резкий ветер тормозил жесткие, озябшие листья яблони. Я схватил лопату и принялся перекапывать заросшую травой грядку.

Вернувшись домой, чтобы приготовить обед, я затопил плиту на кухне, но Поляков сказал, что плита плохо держит тепло, и я затопил еще и голландскую, обмазанную глиной печь, что сыграло известную роль в дальнейших событиях.

После обеда я проработал в саду до семи, то есть до открытия читальни. Я не сразу бросил работу. Нет, я сделал вид, что интересуюсь, не дует ли из окон. Осматривая окна, я в то же время кидал косые взгляды на посетителей: замечание Полякова о слежке за домом, инструк-

ции Лухманова настроили меня крайне настороженно. Вдруг мне повезет, и сегодня, вот сейчас, появится немецкая лазутчица с повязкой на руке или с синей розой?

Первыми пришли два школьника в коротких штанишках гольф и босиком. Они сели на один стул и, толкая друг друга, начали выискивать в свежей подшивке портреты летчиков. Затем вошла русская молодушка, одетая в ватник, взяла маленький листок армейской нашей многотиражки и стала читать, приговаривая: «Ах, ведь не забыла еще по-нашему, не забыла, слава тебе господи». Читала она у окна, чтобы лучше видеть буквы, и сказала мне, когда я подошел, что она три года батрачила у немецкого помещика, что у нее слезятся глаза, потому что помещик заставлял прясть от восхода до самой темноты и не давал жечь свет. Я заделал картоном узкий просвет в окне и не преминул взглянуть на руки молодухи. Нет ни повязки, ни татуировки. За круглым столом расположился еще один посетитель – благообразный пожилой учитель-эстонец с двумя пенсне на мягкой, сплюсненной переносице. Я заметил, что он заинтересовался старыми подшивками, и наблюдал за ним особенно внимательно. Он, однако, ничего не вырезал и остановился на статье об образцовых школах Москвы. Я заделал еще несколько щелей в окнах и в полу. Когда я прошел мимо молодухи, она вкрадчиво шепнула:

– Хозяйка твоя где?

– Нет у меня хозяйки, – с неподдельной грустью ответил я. – Нет.

Молодуха сочувственно вздохнула. Я готов был расцеловать ее милое, круглое лицо за это простое сочувствие и за самый вопрос, в котором как бы звучало полнейшее незнакомство с разведчиком Заботкиным и полное признание личности Егора Прилепина.

Часам к девяти посетителей стало больше, и у круглого стола оставалось одно-два незанятых места. Я продолжал изображать хлопчущего новосела: то перегородку пощупаю, то гвоздик поглубже забью, то открою печную дверцу – хорошо ли, мол, топится. Некоторую долю хлопот уделил я и соседней комнате, в которой спал связанной Полякова, буду называть ее отныне спальней. Следовало поближе ознакомиться с перегородкой, отделявшей спальню от читального зала, и проверить, обеспечивают ли щели удобство наблюдения. Оказалось, что почти весь зал, кроме небольшого уголка, образуемого голландской печью и стеной, просматривается легко. Удовлетворенный этим результатом, я двинулся через зал в сени.

– Слышь, – шепнула молодуха. – Пахать думаешь нонче или не думаешь?

– Под озимые думаю.

– На чем пахать-то?

– Военные лошадей обещали.

– Давай вместе, когда так. Я тоже... Наш район-то Порховский, говорят, разоренный. Куда я к осени пойду? Я немцево поле запашу, и к весне уж...

– Живешь где?

– Соседка твоя. Вон. – Она показала кивком в окно, уже затемненное ранними дождливыми сумерками.

Я сказал, что согласен пахать сообща, и вышел в сад, страшно обрадованный хорошо проведенной ролью. «Из Заботкина еще получится разведчик, – подумал я. – Посмотрел бы Лухманов».

Опустив руку в карман и нащупав рукоятку пистолета, обернутого сухой тряпкой, я прошел вдоль ряда яблонь, затем между кустами смородины и очутился рядом с соседним домом, на который указывала кивком молодуха. Что-то шевельнулось в кустах. Я остановился. Тихо. За кустами слышались легкие, торопливые, удаляющиеся шаги. Я сжал рукоятку пистолета и тотчас отпустил: ведь за кустами улица, и по ней идут прохожие, вот и всё. А что касается шороха, то, собственно, нет уверенности, шорох это в самом деле или порыв ветра. Я постоял некоторое время. Ветер, шаги редких прохожих – больше ничего. Наверху, в синечерной пустоте, мчались догорающие зайчики облаков. Силуэт высокой острой крыши на фоне этих облаков двигался, точно нос корабля, разрезающий пенные валы. «А что, если теперь

следят за мной, – пришла в голову мысль, – а я стою и разоблачаю себя тем, что вот так стою и прислушиваюсь?» Я пересек по тропинке заросли ягодных кустов, вышел на дорогу, поднял для вида обрубок бревна, несколько щепок. Подбросив их в огонь, я с наслаждением приложил ладонь к шероховатой, горячей поверхности печи.

Полнейшее довольство собой, которое я испытывал несколько минут назад, теперь слегка потускнело. Я не мог отделаться от мысли, что допустил ошибку, когда пошел осматривать сад.

Наблюдать, оставаясь невидимым, – вот элементарное уставное правило. А я...

Нет, Заботкин еще не разведчик.

Однако зачеркивать свои успехи по части перевоплощения мне не хотелось «Хорошо, – сказал я себе, – пусть это будет последней ошибкой. Буду рассчитывать каждый шаг. Например, где лечь спать? В зале или в спальне? Ну, это нелепый вопрос. Конечно, в спальне. Только надо сделать вид, что я ложусь в мезонине и в нижнем этаже ночью никого не будет».

Я взял в охапку тюфяк, вынес его с черного хода, обошел в сгустившейся темноте вокруг дома и демонстративно внес обратно через зал. Потом я поднялся в мезонин – все могли слышать мои шаги. А в одиннадцать часов, когда ушел последний посетитель – старик с двумя пенсне, я опять поднялся наверх, зажег лампу и, прежде чем опустить бумажную маскировочную штору, постоял у окна. Тем временем Поляков, заперев парадную дверь на крючок, тоже вошел в комнатку мезонина.

– Затемнение, – напомнил он.

Я изложил ему свой план, упомянув и о манипуляциях с тюфяком. Поляков ничего не ответил, вернее, ответил неопределенной усмешкой.

– Это правильно? – спросил я.

– Правильно, правильно, – проговорил он нехотя. – Давайте-ка вниз.

Стараясь не шуметь, я слез, на ощупь добрался до койки и снял мокрый, тяжелый, как кольчуга, пиджак, мокрые сапоги. Пиджак я повесил сушить на крючках печи, над самой койкой, а сапоги... Куда поставить сапоги? Я встал и, осторожно ступая босыми ногами, прошел в зал и пристроил сапоги здесь, на стуле у печки. Потом я проскользнул в сени и бесшумно отцепил крючок. Поднял шторы. Теперь можно ложиться. Можно наконец согреться под одеялом.

Только не уснуть.

У меня, собственно, один только раз было поползновение уснуть, – это когда ласковое печное тепло разлилось по моим жилам и веки стали смыкаться сами собой. Я вытащил из тюфяка соломинку и пощекотал в носу – так делают, как мне рассказывали, таежные охотники, которым приходится долгими ночами подстергать у водопоя быстрого марала. Сон отлетел и больше не посещал меня. И чем дольше я лежал и вслушивался в немую темноту, тем более крепла во мне уверенность, что этой ночью, именно этой ночью, что-то должно произойти. Почему – я не мог отдать себе отчета. Должно быть, эта уверенность выросла из моего нетерпения.

Щели в перегородке озарились слабым сиянием, и я не сразу сообразил, что вышла луна. Сердце у меня подпрыгнуло. Луна, разумеется, луна. Коли кто-нибудь сейчас войдет, я увижу хоть контуры фигуры.

Но по-прежнему лежал, придавив дом и сад, недвижимый груз тишины. И лишь временами издалека, точно из другого мира, доносился ко мне рокот. Он нарастал, держался одно мгновение на высокой ноте и пропадал. «Катюши». Наши «катюши» работают, – думал я. – Мы тревожим врага, мы днем и ночью отвоевываем подступы к линии «Барс». Мы – это наша армия, это, может быть, и я, если схвачу вражеского лазутчика с чертежами». Сколько раз рисовал я себе эту картину: враг в виде лазутчицы с повязкой на руке или в ином обличье стоит передо мной в положении «хенде хох», а перед ним на стуле, на столе, на пенке в лесу или на земле чертежи – ключ к линии «Барс». И еще я подумал, что из тех бойцов, что проходили прошлыми ночами по шоссе мимо лухмановской штаб-квартиры, кое-кого уже нет в живых.

Если бы Заботкин действовал лучше, они были бы, возможно, живы и прошли бы, возможно, дорогу войны всю до конца. Но они не смогли пройти ее всю до конца оттого, что Заботкин еще не разведчик. Надо было, вероятно, иначе вести себя и в подземелье усадьбы фон Кнорре, и сегодня в саду...

За этими мучительными размышлениями меня застали проблески рассвета. В спальне, где штора осталась опущенной, было темно, но в зале уже можно было сквозь шелку различить стол, и белые пятна газет, и квадрат картины на стене. Постепенно вырисовывались складки на скатерти, свешивавшейся со стола. А когда вошла она...

Но расскажу по порядку. Я не слышал скрипа двери, не слышал, как она вошла.

Вы можете подумать, что я заснул под утро. Нет, я не заснул. Она вошла тихо – в этом все дело. Удивительно тихо! У входа в сени неожиданно, без звука, обрисовалась женщина, точно сгустившаяся из серого полумрака. Я замер. Она, медленно-медленно ступая на цыпочках, приблизилась к столу, затем сделала шаг в сторону того самого непросматривавшегося уголка, образуемого печью и стеной, о котором я говорил раньше. Я все еще не мог ее узнать. Она одета по-крестьянски, в пестрое платье. На голове платок. Но лицо... лицо... Я невольно напряг мускулы, чтобы встать, но с усилием удержался – скрип койки спугнет ее. Что она там делает, в углу? Там стоит столик со старыми газетами, но ей, по-видимому, газеты не нужны, она стоит к ним спиной и смотрит... На что она смотрит... Вот она наклоняется, и голова ее теперь от меня на расстоянии вытянутой руки. И тут я узнаю ее.

Черноглазая! Да, черноглазая хуторянка, приносившая Лухманову мед. Это она.

Мне опять едва удалось заставить себя лежать на койке и ждать, следить.

Она наклонилась и подняла топор, лежавший у печки под стулом, на котором сушились сапоги. И с топором в руке она повернулась и, прежде чем я успел обдумать положение, вышла из дома.

А положение нелегкое.

Если бы она рылась в газетах и обнаружила бы хоть какой-нибудь интерес к ним, я, конечно, задержал бы ее. Пистолет был наготове под подушкой. Я успел бы ее задержать, она бы не улизнула, ручаюсь. Но она не обнаружила никакого интереса, и это меня сбilo с толку. Она унесла топор, и это сбilo меня с толку еще больше. Допустим, я задержу ее, что дальше? Какие у меня улики? Она взяла топор, – это, быть может, обыкновенная мелкая кража. Нет, надо следить за ней. Мне пришло в голову в этот же миг, что с помощью топора она собирается открыть какое-нибудь неизвестное нам хранилище в сених или на улице. Но она прошла сени, сошла с крыльца, и, когда я, босой, без пиджака, выскочил на крыльцо, она повернулась ко мне как ни в чем не бывало, кивнула, засмеялась и произнесла несколько эстонских слов. Затем она взмахнула топором и скрылась в соседнем доме, в доме нашей читательницы – порховской молодухи.

Теряясь в догадках и сомнениях, я поднялся в мезонин и разбудил Полякова.

– Это интересно, – сказал он.

– Может быть, товарищ лейтенант, следовало задержать? Это и сейчас можно.

Он покачал головой:

– Нет... Какой смысл? Главная задача – достать чертежи, правда ведь? А кто там?.. Это она там колет дрова?

Я тоже услышал удары топора и выглянул. Возле соседнего дома, на самом виду, моя утренняя гостья загоняла клин в толстое, суковатое сосновое полено. Мы оба молча наблюдали. Я вспомнил первую свою встречу с ней – у калитки лухмановского огорода, где я проходил сельскохозяйственную практику с Петренко. Тогда мне показалось, что она со страхом посмотрела на меня. Не узнала ли она меня теперь? Но Поляков рассеял мои опасения, сказав, что уж если Лухманов возьмется переделывать внешность человека – можно быть спокойным. Родная мать не узнает.

– Мастер, – сказал я.

– Именно мастер, – проговорил лейтенант. – Вы знаете, он ведь художник по образованию.

– Серьезно?

– Да. У него картины были на выставке в Ленинграде. Акварель.

– Хорошие?

– Хорошие, – убежденно подтвердил Поляков.

Между тем черноглазая кончила работу и крикнула что-то, обернувшись к дому. Показалась знакомая нам порховская молодуха, и обе женщины начали таскать дрова, перебрасываясь эстонскими фразами, причем ясно было, что черноглазая свободно владеет языком, а молодуха говорит не очень гладко, запинаясь, подбирает слова. Потом молодуха подошла к границе моего сада, точно ища кого-то. Верно, меня, а я околачиваюсь дома до семи часов. Хорош хозяин! Я поспешил в сад. Молодуха, завидев меня, сказала:

– Сосед!

– Чего?

– Топор тебе нужен сейчас?

– А что?

– Ужо мы еще поколем, а в обед принесем – либо я, либо она. Ладно будет?

– Ладно, – сказал я.

Хотя меня так и подмывало расспросить про девушку, но я решил играть роль без срывов и не проявлять особенно заметного любопытства. Завести разговор удобнее потом, после работы.

Поляков обедал у себя в мезонине, а я на кухне. На столе краюшка хлеба и зеленый лук, который я вообще не очень люблю. Но я считал, что подлинный крестьянский обед в летнее время не может быть без зеленого лука. Деревянной ложкой я хлебал картофельный суп и обдумывал странное утреннее посещение.

В дверь постучали.

Молодуха с топором и с ней спутник – незнакомый бородатый человек в зеленом немецком кителе с отпоротыми погонами, с желтыми костяными пуговицами на месте форменных. Китель расстегнут, под ним лиловая косоворотка. Типичный русский мужичок, заброшенный войной в Прибалтику. Молодуха положила топор и представила:

– Кум мой.

– Приятно кушать, – сказал мужчина.

– Кум, кум, – повторила молодуха и засмеялась. – Вчерась пошла за коровой, а он идет. «Это вы, – спрашивает, – из Порховского района?» – «Я, – говорю, – а вам кто сказал?» – «Да, – говорит, – сказали люди. Землячка, значит. Я, – говорит, – ищу военных с машиной. Хочу попросить, чтобы подвезли с вещами хотя до Выру. Не слыхала, – говорит, – землячка?» – «Нет, – говорю, – не слыхала. Может, заведующий читальней слыхал? Да ты, – спрашиваю, – из какой деревни?» – «Из Старухина», – говорит. «Батюшки, да в Старухине моя племянница выданная!» А он: «Как ее зовут?» – «Анна Дмитриевна, – говорю, – Стрюкова». А он: «Как не знать, я дочку у нее крестил». Кум, выходит, кум. Хотя неродной, а все-таки кум. Ну, слово за слово, повела чай пить, а там и ночевать. Вчерась-то он к заведующему постеснялся идти, поздно было...

– Садитесь, – сказал я.

– Благодарствуем, – ответил кум, но не сел, а, стоя, свернул сигарку.

– В ногах правды нет.

– Теперь в ногах вся правда, – наставительно ответил кум и послюнил сигарку. – Ногами и живешь. Немец как приказал в сорок-то первом году: «Русс, марш», – так и марширую, ногам покою не даю. Ну, – он обратился к куме, – ты иди, а мы тут поязычим.

– Ладно, – сказала молодуха.

Когда за ней закрылась дверь, кум бросил на меня острый взгляд исподлобья и спросил:

– Давно тут?

– Вчера.

– Чей сам-то?

Я назвал район и колхоз, значащиеся в моих бумагах. Кум прищурил глаза:

– А хлеб режешь по-городскому.

– Как так?

– А так. Тонко режешь – лепестками. И лук ты чудно кушаешь, без соли.

– Так нравится.

Что он, следит, как я ем? Мне стало вдруг неловко в присутствии этого чересчур дотошного кума. Неловкость усилилась, когда он, помолчав, сказал:

– Газету бы дал почитать.

– Можно.

– Ты кушай, кушай. В читальню там ход? Я пойду почитаю.

– Сейчас, вишь, закрыто, – сказал я. – Пойди к заведующему. Он разрешит, так иди.

С этими словами я закончил суп. Теперь можно встать и проводить бородатого к Полякову или в читальню, если ему так хочется. Странный субъект – надо понаблюдать.

– Что у вас – золото спрятано в читальне, что ли? Человеку и войти нельзя.

– Ну, иди, иди.

Я встал и показал ему дорогу. Но он улыбнулся в бороду и проворно, легкими шагами вбежал по лестнице наверх, в мезонин. Окончательно встревоженный, я бросился следом, но он в мгновение ока ворвался в комнату и там раздался... взрыв хохота.

К моему появлению в комнате зеленый офицерский китель кума висел на стуле, борода кума исчезла... словом, передо мной стоял Лухманов собственной персоной. Это было до того неожиданно, что я лишился дара речи. Лухманов знаком успокоил хохотавшего Полякова и предложил нам сесть, сперва открыв дверь на чердак. И первые слова прозвучали музыкой:

– Делаете успехи, Заботкин.

– Какие там успехи, товарищ капитан, – ответил я, польщенный. – Очень плохо.

– Нет, для начала неплохо. Надо свободнее держать себя, поменьше подозрительности. Вам, Заботкин, больше всего подошла бы маска беспечного, добродушного увальня. Прошу прощения... Вчера в саду вы уж очень нескромно проявляли свое любопытство. Я видел, Заботкин. Я был шагах в десяти. Номер с тюфяком, пожалуй, лишний, можно было тоньше. А то, что вы не кинулись на Карен, когда она вошла, за это хвалю.

– Вы и это знаете?

– Кума моя, – он хитро подмигнул, – горевала, что топора в хозяйстве нет, а сосед еще спит. Я и посоветовал: пусть Карен сходит, возьмет топор. Он у самой двери вчера лежал. Небось сосед не заругает.

– Товарищ капитан, – сказал я. – Топор сперва лежал у косяка, а потом я им лучину колол, и он у печки был...

– Она охотно пошла? – спросил Поляков.

– В том-то и дело, что охотно, лейтенант, – сказал Лухманов. – Это заинтересовало меня. Вдруг, думаю, удастся моя провокация, завладеем чертежами? Даже обрадовался, честное слово. Проследил за ней, видел, как она на газеты ноль внимания и нагнулась у печки. Значит, она нагнулась, чтобы взять топор.

– Точно, товарищ капитан, – сказал я. – У печки стул стоял, на стуле мои сапоги сушились, а под стулом топор.

И тут я осекся.

Я вдруг понял, какую глупость сделал: оставил на виду сапоги! Сапоги, которые могли спугнуть ее... Лухманов тоже понял. Он сжал губы.

– Похвалу по вашему адресу, – сказал он отдельно, – придется вам отдать обратно, Заботкин. Вы свалили большого дурака. Правда, человек может спать в мезонине, а сушить сапоги в нижнем этаже, поскольку печи топились только здесь, но у страха глаза велики, знаете, и как раз это соображение могло и не прийти ей сразу в голову. В итоге, – он сыграл пальцами гамму на своем колене, – мы не сдвинулись с места. Мы не можем пока сказать, кто она. Продолжать наблюдение, и только, товарищи. А Карен...

И он рассказал нам то, что узнал о ней. По документам она венгерка, а не эстонка, но жила в Эстонии почти всю жизнь. Служила горничной в Таллине и Пярну. В первые месяцы советской власти вступила в комсомол, – это уже не по документам, а по собственному заявлению. В тысяча девятьсот сорок первом году, при немцах, сидела в тюрьме, что подтверждается документально, а затем провела полгода в концлагере, что тоже подтверждается документами. В мае тысяча девятьсот сорок второго года ее выпустили, она работала батрачкой на хуторах, затем лечилась в частной и довольно дорогой больнице в Таллине, что не совсем понятно. Так или иначе, у нее на руках справка о том, что она «страдает умственной слабостью и депрессией, для окружающих не опасна». Перед приходом Красной армии она была экономкой у поселкового головы, который бежал с немцами. Она осталась на хуторе и теперь живет там, – это в двух-трех километрах отсюда. Хутор Мустэ. То, что она жила здесь раньше, видно не только из документов, но и из показаний окрестных хуторян. В последние две недели повадилась ходить к соседке нашей, к порховской «куме» Агнии Ивановне Соловцовой. Карен носит ей мед и получает в обмен молоко: голова прирезал всех коров. Карен помогает Соловцовой в домашних делах. Соловцова немного научилась по-эстонски, а Карен не знает никаких других языков, кроме эстонского, – по-немецки будто бы ни слова, по-русски будто бы тоже ни слова. Болезненность ее – или притворство – демонстрируется довольно часто. Она то вдруг рассмеется, то застынет в одной позе, то расплачется и убежит и долго бродит одна по селу или по полям.

У Соловцовой она проводит сутки, потом столько же – на своем хуторе. Бывает ли кто-нибудь у нее на хуторе, пока неизвестно. Посетители в последние дни не замечены.

Лухманов напомнил еще раз, что нужно следить, и стал прощаться. Я спросил его мнение насчет Соловцовой.

– Она, вероятно, настоящая порховская кума, – сказал он, смеясь. – А Карен... – Он развел руками.

– Постараюсь разузнать, товарищ капитан, – заверил я. – На этот раз...

– Не будет торчать сапоги, – кончил за меня Лухманов.

Ночь прошла спокойно. К утру ушли дождевые тучи и вместе с ними холод. В окно читальни, вызолоченное встающим солнцем, постучали.

Я уже не спал. Я приколачивал полку на кухне. Делал я это отчасти потому, что нетерпение, мучившее меня последние дни, как бы кидалось в руки. Гряды были уже вскопаны и засеяны, яблони подвязаны, многие вещи, например пожарная лестница, ручная маслобойка, грабли, отремонтированы. Но о чем, бишь, я... Да, в окно постучали. Знакомый голос крикнул:

– Топора не дашь?

– Здорово, порховская, – сказал я приветливо. – А тебе сию минуту надо?

– Ну-ну. И подожду.

– Маленько подожди, – сказал я. – Вот я полку прибью и сам принесу.

– Ну-ну.

Она ушла, а я спросил себя, гладко ли вышел разговор. Как будто гладко. Я нашел предлог побывать у соседки в доме, поближе познакомиться с Карен, нашел, не возбуждая подозрений. Видел бы Лухманов! До сих пор я был, так сказать, в обороне. Пора сделать вылазку.

Еще с вечера, обдумывая приказ Лухманова следить, я придумывал сотни способов проникнуть в соседний дом. Теперь смешно вспоминать, как я ломился в открытые двери. Чего проще было зайти, поздороваться, сесть на лавку, завести беседу о домашних делах. Но призрак разоблачения сбивал меня, неопытного контрразведчика, с простого пути. Как подойти? Попросить косу? Допустим. А дальше что? Сама жизнь положила конец этим размышлениям.

Им опять нужен топор.

Столько раз передо мной простое превращалось в ребус, что я начал усложнять даже такое простое дело, как визит к соседям. Хватит. Выкинуть из головы, что я переодетый старшина Заботкин. С этим решением я направился со своим визитом и застал обеих женщин за завтраком. Карен кинула на меня быстрый и, как показалось мне, беспокойный взгляд и уткнулась в миску с разваренной картошкой. От этого взгляда мне на миг стало не по себе, но хозяйка сразу ободрила меня своим радушием:

– Чаю с нами...

Я поблагодарил и сел.

– Ты что в угол забился? Хоть бы ко мне под бочок сел. Вот сюда... Так-то лучше. Погляжу на тебя – будто с мужиком своим чай пью. Ростом он в аккурат с тебя. А кум-то мой вчерашний не знаешь, куда делся? Я ждала-ждала. Хотел прийти ужинать. Нашел он машину или нет?

– Машину?

– Не дошел он разве до твоего начальника? Машину надо, вещи перевозить.

– Нашел машину, – поспешил я уверить куму. – У госпиталя стояла машина, он и сговорился. До самого Пскова доедет.

– Когда?

– Не знаю. На днях.

Чтобы поддержать Лухманова в его новой роли, я поинтересовался, давно ли пригнали его немцы в здешние места. Хозяйка всплеснула руками:

– Не говорила я тебе? Про сестру мою... Нет, не говорила. Это кум новости принес. Его в прошлом году согнали, а деревню сожгли, ироды... Сестра-то в партизанах была. Ей орден присудили. За ней самолет прилетел. Пожалуйте, мол, в Ленинград, орден получать.

Круглое лицо ее сияло, и в словах «орден получать» была такая искренняя, непосредственная радость за сестру, что я подумал: «Нет, эту можно избавить от подозрений. Вот Карен...» Я посматривал на нее, пока кума рассказывала, нечасто, но посматривал. Она накладывала картофель из огромного чугуна в свою миску, горячий картофель с лопающейся бронзовой кожурой, и при этом морщилась, дула на пальцы. Не батрацкие пальцы – можно побиться об заклад. Они тонкие, с узкими ногтями, с нежной кожей. Видно, поселковый староста, у которого она служила, не утруждал ее работой. На среднем пальце кольцо, простое серебряное кольцо с резьбой. Резьба отнюдь не эстонская и не литовская, а скорее восточная. Расхрабрившись, я тронул кольцо черенком ложки и спросил:

– Муж есть?

Кажется, она поняла вопрос, но ничего не сказала. Кума перевела. Карен нервно повела плечом, сжала губы и выговорила несколько слов, которые я перевел так: «Не хочу вспоминать, не надо». Видно, я был близок к истине.

– Муж есть у нее, – сказала хозяйка, – только не поминает она его. Бросил вроде.

– Далеко он?

Карен молчала.

И вдруг она бросила назад в чугунок только что взятую картофелину. Точно обожглась. Рывком отставила миску. Не знаю – от моего вопроса или... На улице кто-то, скрытый стеной сирени, провел палкой по столбикам палисадника. Раз... Другой... Третий... Карен поставила локти на стол и закрыла ладонями лицо. А через мгновение отняла их, и на меня смотрели

глубокие, темные глаза, и в них сквозили не только настороженность, не только страх, нет, еще и мольба.

– Что с ней?

– Находит. Бог с ней, – ненормальная. А ты ей понравился, видать: слышь, чего говорит? Ей надо идти сейчас к себе на хутор, а одной страшно. Днем страшно дуре! Может, говорит, он меня проводит. Ты то есть.

Я согласился, конечно, и постарался не показать при этом ни удивления, ни радости.

Мы пошли быстро. Она почти бежала. Она семенила по шоссе, согнувшись, точно по ситцевым цветочкам на ее узкой спине хлестал дождь. Был момент, когда мне захотелось дружески приласкать ее – несчастную, испуганную, торопящуюся изо всех сил. Страх стигает человека, прибывает его к земле. Она стала как будто ниже ростом. За киркой, там, где от шоссе отделяется тропинка, она задержала шаг. Можно идти по тропинке, ведь это кратчайший путь. Я сделал шаг к тропинке, но она схватила меня за локоть цепкими, сильными пальцами. Она почему-то выбрала дорогу. Почему? Опасается нападения?

А может быть, все это чепуха и она просто больная?

По шоссе мы шли недолго. Она опять схватила меня за локоть неприятным, нервным жестом, и мы пошли напрямик через поле, покрытое колокольчиками и крупными ромашками. Золотые тучки пчел летали над травами. Ромашки кивали и твердили мне: «Все очень просто, очень просто. Она, бедняжка, больная».

«Она была бы красивая девушка, – подумалось мне, – если бы не этот болезненный страх».

Ромашки кончились. Мы обогнули маленькое озеро, голубой домик, прилепившийся к покатоному берегу. Тут я заговорил с Карен. Я показал на обручальное кольцо Карен и спросил по-русски и по-немецки:

– Муж?

Она молчала.

Мы прошли мимо разоренного кирпичного завода. Из печей тянулась крапива, труба была наполовину отбита. Карен сказала:

– Мустэ.

Шагах в трехстах от завода кудрявился сад, за которым прятались постройки хутора Мустэ. Поселковый староста точно нарочно замаскировал свое жилье зеленью, – только вблизи можно было рассмотреть, что здесь не маленький хутор, а скорее помещичья мыза. Впрочем, в архитектуре жилого здания не было ничего аристократического, – это был длинный, приземистый, до подоконников ушедший в землю постоялый двор. К нему почти примыкал каменный двухэтажный сарай. Помост, ведущий к воротам второго этажа, разрушен, на краю стоит старый облезлый безрогий козел и, понутив голову, смотрит вниз. Карен толкнула тяжелую дверь и повела меня по звенящим плитам в крошечной темноте. Я почувствовал облегчение, когда мы наконец очутились в продолговатой, залитой солнцем и далеко не мрачной комнате. Жаркое птичье воркование вливалось в комнату вместе с солнцем, под карнизом вили гнезда ласточки.

Страх у Карен не проходил и дома. Усадив меня на диван, они присела на край стула, вскочила и вдруг подбежала, и села ко мне на колени.

Это было до того неожиданно, что я сразу и довольно резко ссадил ее, а потом, чтобы загладить свою резкость, потрепал по плечу.

Она отвернулась. Я снял со стола альбом и стал перелистывать. На одной открытке был изображен толстый, смешной рыбак, вытаскивающий из пруда карася. Палец Карен задержал эту открытку. Палец уперся в рыбешку, болтающуюся на крючке. Карен сказала:

– Я.

Потом она отняла у меня альбом и среди множества новогодних и пасхальных открыток нашла одну – с ангелом-хранителем, ведущим под руку сгорбленную, пораженную недугом женщину на костылях. Карен дала мне понять, что ангел-хранитель – это я.

Опять она вскочила. Стиснула мои плечи, точно говоря: «Сейчас вернусь», – и действительно вернулась через мгновение, неся бутылку немецкого коньяку, банку килек, две рюмки. «Что это?» – подумал я. Но мысль о ловушке я сразу подавил. Я был тогда слишком высокого мнения о своих успехах по части маскировки и полагал, что она видит во мне отнюдь не старшину-разведчика Заботкина.

Поэтому я позволил ей налить рюмки и выпил свою, предварительно убедившись, что Карен пьет.

Карен угрожает опасность, и мне, следовательно, надо выяснить, в чем состоит эта опасность. А сама Карен предстала передо мной в более симпатичном свете.

Наш разговор, начатый посредством знаков и кое-каких слов, постепенно оживился. Я втолковывал ей, вынимая и тасуя открытки, что она встретится со своим мужем и будет жить вместе с ним на хуторе, – кстати попалась открытка с избушкой и парой розовых, увешанных цветочными гирляндами поросят. Она посмотрела без улыбки и протянула мне открытку. На ней была счастливая молодая пара и пухлый полуголый амур, выглядывавший из-за ствола цветущей яблони. Открытку она с коротким смешком поднесла к самому моему носу и дала понять, что под новобрачным она подразумевает меня. Огрызком карандаша она коснулась руки новобрачной – руки повыше запястья, – и... мне вдруг не хватило воздуха: на обороте открытки она нарисовала розу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.